Новый Журнал

136

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Деникс, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский

Тридцать восьмой год издания

Кн. 136 НЬЮ ЙОРК 1979

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. SEPTEMBER 1979

Quarterly No. 136
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price $24 — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

В. Вейдле — Вдвоем друг без друга 5
Л. Владимирова — Стихи 40
А. Величковский — Стихи 41
П. Палий — Освобождение 42
И. Чиннов — Стихи 59
Е. Дрыжакова — Гамлет Достоевского 61
Ю. Иваск — Стихи 80
Р. Гуль — Я унес Россию 81
В. Перелешин — Стихи 120

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Письма В. Розанова к А. Измайлову 121
Письма И. Бунина к Б. Зайцеву 127
Письма М. Чехова к Ю. Елагину 141
О. Толстая — Дождь и солнце 146

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

А. Федосеев — Дела советские 163
М. Михайлов — О диссидентском движении в Югославии 179
Ф. Силницкий — "Холодом веет от Кремля" 194
А. Иванов — В. Комарович о христианстве и социализме у Достоевского 212

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

Ю. Иваск — В.В. Вейдле 213

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

И. Оводов — Путешествие в Оптину Пустынь 219
К 1000-летию крещения Руси 220

БИБЛИОГРАФИЯ: — *Л. Ржевский* — Андрей Седых. Далекие, близкие 222

Printed in U.S.A. by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave, Clifton, N.J. 07011

ВДВОЕМ ДРУГ БЕЗ ДРУГА

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Взамен смерти

И вот настал этот день. В поезде ночью я слышал ее телефонный голос и думал: подымусь на второй этаж; дверь налево; позвоню. Софья мне откроет. Войду в прихожую. Прямо — столовая. Налево — лиловая гостиная. Направо — зеленая. Откуда она выйдет? Как меня встретит? Боже мой, как я мог прожить без нее шесть лет? А теперь? Что будет теперь? Обнять ее жаждал до полного исступления. Боялся себе это и представить. Но еще бешеней хотел ее увидеть, просто увидеть, осязать ее глазами, прикоснуться к ее платью, к ее рукам.

Поезд не опоздал. Совершенно неожиданно для меня, Софья меня встречала на вокзале. Похудела, поседела, но все такая же была крупная и крепкая. Обнял ее, отнял у нее два моих тяжелых чемодана, но она тотчас нашла носильщика. Извозчик, нанятый ею, ждал нас у выхода.

— Вот радость-то будет Верочке! *Так* вас ждет! Вы себе, Андрей Алексеич, и представить не можете. Истосковалась! Ведь я к ним поступила, когда она маленькая была. Силенок как будто и не много, а все равно что сталь: упрямей нет! Скажите ей, чтоб за границу скорей уезжала к старой барыне и меня с собой взяла. Я ей до смерти служить буду. Николай Николаевич не хотят. Нет да нет. А ведь полгода назад схватили его, в тюрьму посадили. Передачи Верочка носила; я — тоже. Три месяца сидел. Насилу отпустили. Правда, вернули на службу, жалованья

Редакция "Нового Журнала" выражает глубокую скорбь по поводу кончины нашего давнего, постоянного сотрудника Владимира Васильевича Вейдле, последовавшей 5 августа с.г. в Париже. Выражаем наше искреннее соболезнование вдове Владимира Васильевича — Людмиле Викторовне. В этой книге читатель найдет статью Ю.П. Иваска о В.В. Вейдле, ученом, писателе, человеке. Начало романа В.В. Вейдле "Вдвоем друг без друга" см. в кн. 135 "Н.Ж." РЕД.

Copyright by The New Review, New York. 1979

даже прибавили. Да кто ж их знает, не посадят ли завтра опять...

— Он по-прежнему в Государственном Банке служит? В чем же его обвиняли?

— В непонятном чем-то, "экономический шпионаж".

— Ох, Софьюшка, плохо это. Оттого плохо, что слишком уж глупо.

— Ну, барин, приехали. С извозчиком сама расплачусь; он — племянник мой, у нас с ним особые счеты. Он вас и завтра на другой вокзал повезет. Идите теперь. Звоните. А я по лавкам пойду.

Лифт не работал. Я втащил чемоданы на площадку второго этажа. Позвонил. Верочка, точно у двери стояла, тотчас отворила.

— Андрик, входи. Ставь вот здесь свои чемоданы. Обними свое ребрышко, считай мои косточки.

Она поднялась на цыпочки, чтобы меня поцеловать. Положила мне руки на плечи. Трепетали под ладонями моими нежные ее позвоночки. "Мы теперь отдыхаем, — сказал я, — за шесть лет устали". Она закрыла глаза, провела рукой, как слепая, по моему лицу, положила мне голову на грудь. "Андрик, я твоя".

Мы долго стояли в полутьме. Слушали, как сердца наши бьются. Потом она повела меня в зеленую гостиную, самую светлую комнату в квартире. Там все было по-старому: ковры, золоченая мебель, рояль, нотные тетради на нем (их прибавилось как будто), большое трюмо в резной золоченой раме. Верочка повела меня к нему, но и не дойдя до него, я увидел, что она в том самом плиссированном, темно-розовом платье...

— Боже мой, Верочка, такое же точно платье! Ты в нем так хороша.

Она прижалась ко мне сбоку и сказала:

— Это — оно. То самое. Я его никогда с тех пор не надевала. В сундуке держала. Софья мне его освежила и разгладила. Такие платья из моды не выходят. Я в нем понравилась тебе. Для того и надела: авось и теперь понравлюсь? Подойдем к зеркалу.

Вот мы двое. Я почти на голову выше ее. В неумело перелицованном костюме от хорошего портного, фланелевом, сером, обвисшем слегка на мне: я отощал. И она похудела. Платьице

больше висело на ней, чем когда она его надела на голое тело, — тогда, после ванны.

— Ты узнаешь свою Верочку? Погоди, не горюй. Я постарела с лица; телом, кажется, нет. Полчаса назад смотрелась, голая, в это же зеркало. Ох, не гляди так, сквозь платье, я краснею, я ведь помню, слово в слово, как ты меня тогда хвалил. Ничего. Мне тридцать лет, как и тебе. Мы еще не старик со старухой. Ты стал светлей и как-то тверже лицом, а синие глаза твои еще синее.

Я подхватил ее левой рукой под колени, поднял на руки, поцеловал пряжку на пояске ее платья. Она сказала:

— Неси меня сперва в столовую, я приготовлю тебе кофе. Мы — одни во всей квартире. Или нет. Спусти на пол. Помойся, покуда я с кофе буду возиться. Скажи, в каком чемодане белье. Жарко. Я принесу тебе пижаму.

Когда я после душа надел ее и вышел в столовую, Верочка сказала:

— Той уже нет? Я ее не нашла, но и эта тебе, синяя с белым, к лицу. Идем пить кофе. И земляникой я тебя угощу. Ты ее любишь, я от Любы слыхала, ты ей сам говорил, "больше всего на свете".

Мы сели за стол друг против друга. Мы пили кофе, улыбаясь друг другу и не сознавая, что мы кофе пьем. Мы ели землянику и не ощущали (сужу по себе) ее вкуса. Мы глядели друг на друга и все больше нам казалось (я уверен и ей), что вот сейчас все исчезнет: столовая, стол, мы сами; дом и город исчезнут; останется лишь сама наша любовь.

— Верочка, мы одни — не только здесь, но и на свете.

— Андрик, мы вдвоем, мы всегда и были вдвоем, разница та, что теперь и другие могли бы в этом убедиться.

— Верочка, скажи, счастье, ведь это то самое, чего вынести невозможно?

— Андрик, любовь, она и смерть, хоть она и самое живое. Я на тебя гляжу и мне хотелось бы, чтобы на мне не было не только платья, но и тела. И на тебе тоже. Чтобы в одно облачко нам слиться, где-то тут, посредине, над столом.

Неизвестно, долго ли мы потом еще сидели молча, глядя друг на друга. Верочка первая встала, обошла стол, подошла ко

мне:

— Больше нельзя. Это как ты мне тогда ноги целовал. Возьми меня, хоть и это нас от любви не избавит. Неси в твою комнату. Вон туда. Вот так. В коридоре налево. Дверь открыта. Клади на постель. Нет. Выйди на минуту. Я позову.

Она очень скоро позвала. Я вошел. Она лежала совершенно так же, как шесть лет назад, на спине, посреди постели, только постель была поуже, чем тогда.

— Ну смотри, я такая же или нет?

— Ребрышко мое, ты похудела, но все соразмерности твои — те же, вся краса твоя, редчайшая, цела. И уж совсем теперь твое тело — не умею иначе сказать — стало тобою, телом твоей и ничьей другой души. Все мясцо твое целуя, душу твою целую. В косточках твоих она спрятана, в них и любит меня.

Глаза ее потемнели и зажглись. Поеживаться она стала под моими поцелуями, как тогда, и все шептала.

— Любит, любит...

Потом притянула меня к своим губам.

Объятие наше — всего ведь третье в нашей жизни — кончилось иначе, чем два первых: не она задремала, — я заснул. Проснулся от соленой капельки, капнувшей мне на губу. Ее лицо увидел над своим. Она улыбнулась сквозь слезы.

— Ты спал почти четверть часа; верно в дороге не спал?

— Ты плачешь? Дай мне слезки твои поцеловать.

— Я плачу, оттого что нельзя нам умереть, вот сейчас. Убивать себя или другого — гадко. Но уснуть с тобой, в любви уснуть навсегда...

Она легла рядом на бок, ручку свою квадратненькую положила мне на сердце, голову на грудь. Мы долго лежали молча, в безысходном горестном блаженстве. Потом она села, обняв руками колени, но не плотно, не пряча от меня грудь, и заговорила:

— У нас вся ночь впереди. И никто нам весь день мешать не будет. Покуда ты спал, я слышала, дверь на кухне отворилась: Софья пришла. Она-то уж нам не помешает: давным давно без единого слова все поняла. А в чьей мы комнате, ты знаешь? Это бывшая мамина спальня. Теперь мы сюда Машу Брянцеву вселили. Милая девушка, кажется, и она все поняла. Взяла

Котика и уехала с ним к родителям на два дня. Смотри, как она уютно и опрятно все устроила. Будешь тут барышней жить, единственный этот денек, барышней, барышней...

Тут она прошлась ладонью от шеи моей до колен.

— Коля, как нарочно, — и конечно нарочно, откомандировался в Москву на три дня. За границу ни за что ехать не хочет, но тому, что ты уезжаешь, думаю, очень рад. Он — как собака на сене. Хоть я ему давно уже — сено, тебе он этого сена не намерен отдавать. Ничего о нас не знает, но чутьем чует. За женщинами бегает до одури, а со мной, как с женой, давно, слава Богу, не живет. Без объяснений; тоже слава Богу. Зато Котика любит еще крепче, пожалуй, чем прежде. Недавно раздобыл для него дорогую игрушку: паровоз с вагонами, рельсы. Часами играет с ним в железную дорогу, знаешь где, в лиловой комнате. Вот и мы туда пойдем, одевшись. А то ты так смотришь на мою грудь, что мне трудно рассказывать. Твое добро. Целуй. А теперь одевайся.

Оделась и она. В лиловой гостиной по бобрику были проведены рельсы и целый длинный поезд стоял на них под окном.

— Вот видишь, этим отец с сынком и забавляются. Умиляюсь, глядя на них, но и страшно мне каждый раз за них.

— Послушай, Верочка, Софья мне сказала, что он был арестован, сидел, но уезжать по-прежнему не хочет. Ведь это же безумие!

— Не хочет. Никогда не хотел, а теперь всего менее. Оттого, сдается мне, что ты уезжаешь. Брат нас всех троих зовет, пишет, чтоб и Софья и Маша со мной ехали. А Коля заупрямился. Никакой, мол, опасности нет. Его реабилитировали. Извинялись. Повышение дали по службе. В его полной лояльности больше, мол, ни у кого никаких сомнений.

— А ты как думаешь?

— Боюсь. Не хотела тебе первых наших поцелуев портить, но помнишь, тогда, двадцать первого, мы ведь любовью смерть прогоняли, а теперь она снова у ворот. Колина, я чувствую, всех ближе. О, если б заклясть ее, хоть мысль и дика, всем огнем любви нашей с тобой!

— Ты его любишь, Верочка?

— Жизни его хочу, а не смерти. Люблю. Но шесть лет уже, не как мужа, а как если б он был старшим моим сыном, хоть я, как и ты, на два года моложе его. И как отца Котика. Что же будет с Котиком, если...

— Господи! Верочка, я думал, ты уедешь, и я буду тебя видеть там. Как же я оставлю тебя одну, если с Колей что-нибудь случится? Да и на что мне жизнь без тебя. Бог с ней, с визой! Не поеду никуда.

— Что ты! Что ты! Ради Бога! Ты должен ехать! Для своей работы, мысли, свободы. Для меня. Андрик, для меня. Ты мне дороже всего, дороже и жизни с тобой. Да ведь если нас обоих посадят, сошлют ведь не вместе, ты отлично знаешь, не вместе.

Она опустилась на колени возле моего кресла, стала плакать, целовать мои руки.

— Милый, любимый, мое все, моя жизнь, уезжай. Ты под ударом и сам. И тебя они погубят. Нераболепным умам пощады у них нет. Я ведь знаю. У тебя был обыск.

— Это правда. По случаю моей просьбы о визе. Но *ты* откуда это знаешь?

— Люба писала тому два месяца. Из Вологды. Она теперь там со своим светлейшим. Что-то с ним будет? Он на редкость добрый, хороший. Люба пишет: полюбил ее сына, как своего. Но ведь сидел уже раз пять. Оставить его в живых с их верой несовместимо. А у тебя нашли что-нибудь?

— Ничего. И твоих писем не нашли. Сжег, как ты велела, кроме двух первых; они зашиты в подкладку моего пиджака: записка о нашей дочке и письмо о печном горшке.

— Сожги! Я тебя просила! Сожжем вместе сейчас!

— Не расстанусь с ними, Верочка, косточка моя. А вот, кто сообщил Любе о чекистах в нашем доме, не догадываюсь вовсе.

— Может быть, неведомый тебе тамошний ее флёрт?

— Не исключаю и этого. Вижу, что тебе Любины словечки хорошо знакомы.

— Еще бы. Да и комната эта мне их подсказывает. Ведь и о тебе Люба говорила до вашей свадьбы: "мой флёрт". Пересядем, хочешь, вон на тот диванчик для двоих. Ты небось и тут с ней сиживал?

— Случалось. Но спокойно сидеть никогда не мог. Сразу же

начинал ее целовать, ласкать, искать ее ласк. Или начинала она. А вот с тобой могу и смирно сидеть, потому что видеть тебя, быть с тобой это уже ласка, объятье, любовь и счастье любви.

— Но чаще она сидела в том кресле, где только что ты, а ты у ее ног? Да? Я тебе кое-что об этом расскажу, но сперва ты мне скажешь, как ты о ней теперь думаешь.

— Храню о ней добрую память. Неверная, лживая (даже без надобности порой), а все-таки добрая и в очень важном непритворная, простая. И сестричка твоя. Двойняшка. Никогда о тебе дурного слова не сказала.

— А я все время жалею, что ты больше не с ней. О, я страшно ревновала. До нашего дня и потом первый год. Мучилась мыслью о твоих с ней поцелуях. А потом превозмогла это: стала думать, что она — это все еще я и что ты тоже так чувствуешь — в ней ищешь меня. Я и ребенка вашего будущего любила, взамен мертвого нашего. Вот только, когда узнала — от нее же — чей он, разъярилась страшно на нее, отказалась ее видеть, перестала писать. А теперь — жалею, пишу и она пишет. Боюсь, как бы не погибла из-за мужа и она.

— Ты говоришь, что ревновала, до трамвая?

— Я ведь и тогда тебе говорила или намекнула, что любила тебя, сама того не зная, давно. Не успела только или не захотела тебе сказать, с чего это началось.

— С чего же?

— С этой комнаты. Было это за год до вашей женитьбы. В том кресле с высокой спинкой Люба и сидела. Ты стоял перед ней на коленях. На столе горела лампа. А зеркало напротив, видишь? Дверь рядом была приоткрыта. Через столовую идя в прихожую, я увидела вас. Ты открыл ей платье на груди, целовал грудь; приподнялся, взглянул на нее. Вот этот твой взгляд меня и поразил. Кроме чувственного жара, в нем было еще что-то, какой-то глубокий, набожный почти восторг. О, я завидовала ей, ее красоте в эту минуту. Пылало все ее лицо, глаза сияли, прядь ее чудных волос упала ей на плечо. В твоем взгляде и было восхищение всем этим, а сквозь это и чем-то другим, другой, невидимой Любой. Никогда, вдруг мелькнуло во мне, даже в брачную ночь, Коля так на меня не смотрел. Не умеет. Слишком себя любит. Женскую прелесть примечает, а женщину

потребляет. Персик ест. Съел и губы обтер. А ты восхищен был, знаешь, в сильном смысле слова. Ты совсем самозабвенно Любу любил, такой ее видел, какой Творец для глаз твоих ее сотворил. Я только после трамвая в ее постели ей и тебе это простила. Потому что на меня ты смотрел еще самозабвенней, еще любовней. И миг наступил, когда я поняла, что мы любим друг в друге что-то, что больше нас, что несет и объемлет нас собой, чему имени нет, если это не Божье имя.

Она съежилась вся, ко мне прижалась, и я обхватил ее рукой, как тогда, в пролетке, как бы защищая ее от ада, от смерти, Боже мой, если б нужно было, даже от Тебя; и мы онемели надолго в совершенной несказанности любви.

Чуть слышно Верочка зашептала:

— Как мне хорошо с тобой! Словам моим в твоих словах, мыслям моим в твоих мыслях. Одинаковое сплошь, всезахватывающее счастье. Когда в прихожей стояли, когда в зеркало глядели, когда земляничку твою ели, когда ты во мне был, а душа моя в твоей. И если б умирала, все равно. Только бы вместе...

Тут она прижалась ко мне еще теснее, помолчала немного и вдруг тихонько спросила:

— Скажи мне самую, самую последную тайну. Люба, как ты ее любил?

— А ты мне скажешь, — шепнул я, улыбаясь — как ты Колю любила?

— Он не твой брат и близнец, — сказала она, сев немного попрямей, но у пояса удержав мою обнимавшую ее руку.

— Верно, — улыбнулся я вновь, — но это не в твою пользу. Значит, ты можешь любить очень различных людей, а я для начала ничего другого не сумел, как полюбить твою двойняшку. Но не в упрек тебе я это говорю. Для качества любви важней, *кто* любит, чем кого. Хотя от качества любимых зависит все-таки судьба любви. Мог бы я, пожалуй, и последнюю негодяйку-растрепашку подлинной любовью полюбить, но получилось бы из этого нечто жалкое, или страшное.

— Хорошо, Андрик, я скажу. Колю я полюбила четырнадцати лет — совсем безоглядно и беззаветно. Женила его на себе, но никогда не смогла ощутить, что он любит меня, как я

его. Ни в объятьях его не смогла, ни в чем другом. У меня была первая неудачная беременность еще до Котика, и он начал изменять мне еще тогда. Нет, ты неправ: само качество любви меняется, когда ей нет настоящего ответа. А когда есть, оно меняется тоже: тут-то зенита и достигает. Как моя достигла, когда ты ноги и руки мои целовал, квадратненькими называл, и мне впервые захотелось тут же на месте умереть.

— Вот и я с Любой никогда *такого* чувства не испытывал. В последний год перед свадьбой и в первый после нее мы, я думаю, любили друг друга одинаково, но, кажется мне, все-таки одним желанием с нормальной добавкой дружбы и нежности. Мое чувство вздымалось порой куда-то выше, вот как должно быть в тот миг, который в зеркале этом увиден был тобой. Кажется, я так устроен, что одним удовлетворением желания удовлетвориться не могу. Этому "сверх" или "вверх" ничто в Любе не мешало, но и ничто не отвечало. Глаза ее прекрасны, но и в самой их синеве никакого неба нет, а твои таковы, что одно желание, пусть им и дивясь, вовсе их не сумеет полюбить. Телом она похожа на тебя. Редкостный мастер начертал общий эскиз для ее и твоего, но Любино выполнено было немножко бравурным и размашистым его учеником, а твое мастером еще более редкостным, чем первый, точнейших соразмерностей творцом, сумевшим телом твоим высказать твою душу, а глазами ту душу души, для которой и тела нет.

Почти испуганно, с робким восторгом на меня взглянув, Верочка шепнула.

— Невыразительны мои глаза, сам ты сказал.

— Как божество. Кроме божественности, что же ему и выражать?

— Андрик, не учи меня тщеславию. Если я такая для тебя, то лишь потому, что ты сумел меня полюбить, как не сумел бы никто другой. Человек человеку Бог, — кто-то мудрый и святой это сказал. Я твоя, Андрик. Какой ты создал меня, такой — в тебе — и останусь; такой, даст Бог, и умру.

Я руку ее прижал к губам. Глаза ее золотисто сияли. Тут Софья позвала нас обедать. Завтраком это больше не называлось. Да и было уже два часа.

Стол, как в сказке — или как в жизни, но не нашей празднично был накрыт для нас двоих. Перед каждым прибором была роза в узенькой рюмке, большая хрустальная ваза с почти такими же темно-розовыми, как Верочкино платье, стояла, чтобы не мешать нам видеть друг друга, на дальнем конце стола. Софья подала нам борщок в чашках и к нему свои чудесные ватрушки, мы переглянулись и Верочка шепнула: "Только раз еще спекла: маме на прощальный обед". Потом принесла куриные котлеты, совсем как в былые времена, извинилась только, что на мороз не могла их выставить, и "летний жардиньер", по ее словам, — смесь морковки с зеленым горошком. Бургундским белым мы все это запивали из ее секретных запасов. Земляникой со сливками угощались. Друг на друга глядели. Сперва обмениваясь веселыми возгласами, хваля Софью, приглашая ее сесть с нами за стол; потом все более молчаливо.

Розы. Хрусталь. Серебро. Тишина. Мы — одни. Мы — вдвоем под охраной любящей женской души. Софья подливает нам вина. Мы чокаемся, глядя в глаза друг другу. Нам хорошо. Нам чудо как хорошо. Нам так хорошо, что становится все трудней не разрыдаться.

Подавая нам кофе в двух гарднеровских чашках, некогда принадлежавших мне, Софья, глядя на нас, прослезилась.

— Что вы, Софьюшка, — сказал я, — вы нас так чудно накормили, а теперь взгрустнулось вам?

— Подумала, Андрей Алексеич, что могли бы вы так всю жизнь с Верочкой сидеть за столом, а я бы вам подавала. Вот было бы счастье...

— В раю это будет, Софьюшка, — сказал я.

Верочка вскочила со стула, обняла Софью и пошла с ней на кухню. Через минуту пошел туда и я. Софья сидела на табурете, а Верочка, прижав платок к лицу, рыдала, как маленькая, у нее на коленях и Софья гладила волосы ее и плечи.

— Знаете, Софьюшка, — сказал я ей, — вы ведь нам все равно что родная мать. У Верочки две мамы, обе Софьи. Одна — там, далеко, ждет ее и, надеюсь, дождется, а другая здесь, любит ее и всегда — не так ли? — всегда останется с ней.

— Останусь, Андрей Алексеич, няньчить буду ее и Котика. В

Сибирь с ней пойду, если нехристи эти... Дайте руку вашу, Андрей Алексеич, поцеловать.

Руки я, конечно, не дал, а сам, сильно ее смутив, руку ей поцеловал. И сказал:

— Родная моя, у меня к вам просьба. Поезжайте завтра вместе с Верочкой меня провожать. Как-нибудь уместимся в пролетке. Легче мне будет расставаться с Верочкой, если я своими глазами увижу, что вы остаетесь с ней. Вы ведь всё о нас знаете. Секретов от вас у нас нет.

— Провожу вас, с плачем провожу. Подарок это мне от вас обоих самый драгоценный.

Верочка благодарно взглянула на меня, соскочила с ее колен и тут же при ней горячо обняла меня и поцеловала. Мы вернулись в столовую, выпили остывший кофе. Я сказал:

— Теперь ляг и поспи. Ты, наверно, не спала всю ночь. А мне нужно еще к "нехристям" явиться, в два учреждения — на Гороховой и на Дворцовой площади. Ведь они меня не столько выпускают, сколько выгоняют. Какие-то еще штемпеля ставить хотят. Sans droit de retour, должно быть. Вернусь часам к пяти.

— Если не запрячут. Ну, будет кому передачи носить. Пожалуй, и Коля понесет. Шучу. В *эту* беду почему-то не верю. А я и правда лягу: устала — от горя и счастья, — взглянула, точно нож в себя прямее всадила, и прибавила, — больше от счастья. Потеплела ее улыбка:

— Но если позволишь, не у себя. У Маши. У тебя.

Вышел с идиотским чувством, что из дому иду; вернусь домой к жене. Побывал и там и тут. Штемпеля мне поставили именно такие, каких я ожидал. Не задержали. Вернулся вовремя. Софья мне дверь отворила, палец приложив к губам.

— Верочка спит у вас на постели. Не будите ее, но войти можете. У нас ведь бобрик везде и дверь приоткрыта.

Я, не шумя, вошел. Шторы были спущены, но в комнате не было темно. Сел на низенький пуф у постели, переложив на нее розовое Верочкино платье. Она лежала лицом ко мне на боку в легоньком своем халатике.

Длинные ее реснички! Боже мой! Но я сидел, не шевелясь. Молча говорил: Боже мой, ребрышко это мое, которое Ты, меня сотворив, из меня вынул. Вот я гляжу на нее, все равно что на

Тебя. Где я найду в живом существе, если только правда, что Ты — Любовь, более верный Твой образ, более близкое Тебе подобие? Не отнимай ее у меня. Не отнимай. Не отнимай.

Еще минута. Верочка проснулась. Потянулась ко мне, чтобы я ее поцеловал.

— Ты когда же пришел? Будить меня не хотел? Я только что, во сне, за тебя, за нас молилась Богу, где-то в полутемном готическом соборе, может быть в парижском Notre Dame. А вот сейчас на тебя гляжу и ведь продолжаю молиться. Ему сквозь тебя. Ты тоже так? Я знаю. Я — твоя. Совсем! До самой малюсенькой кровинки.

Она приподнялась на правом локте, левой рукой за шею меня обняла, нежно-нежно. Стала вставать. Как ей шел и этот грустненький осенний халатик! Но она его сняла. Надела платье.

— Иначе Софья огорчится: халатик этот считает заштатным. Для тебя, говорит, я должна быть одета по-воскресному, во всё самое мое лучшее. А платье это я и завтра надену и спрячу потом опять; если тебя со мной не будет, то и навсегда.

Тут она взглянула на меня и скорей прибавила:

— Маше, и той не отдам, как все другое. Она почти моего роста, чуть повыше. Удивительно хорошая. Вот посмотри в шкафу, как у нее ладно и мило прибрано все.

Верочка отворила большой белый шкаф, где с одной стороны висели светлые девичьи платья, а с другой — на полках лежало лавандой пахнущее постельное белье. Средние полки раздвинуты были шире. Там среди других фотографий стоял в серебряной рамке портрет очень красивой и нарядной женщины в черном бархатном платье, отделанном старинными кружевами.

— Это ее мать в молодости. Такой она блистала при дворе Александра II, когда была графиней Замойской. Теперь она при смерти. Маша ее очень любит; горюет. Ты ведь Брянцевых совсем не знаешь?

— Помню, что ты от них приехала ко мне на вокзал. "Дача на Неве".

— Это все, что у них осталось. Ни поместий, ни квартиры...

— По улыбке горделивой узнаю. Ведь это Мария

Сигизмундовна за полвека до того, как я был ей представлен у вас в зеленой гостиной в качестве Любиного жениха. Одобрила. Даже не без кокетства улыбнулась, когда я ей на прощанье ручку поцеловал. "Воспитанный юноша" был ее, переданный мне твоей мамой, вердикт.

— А это Маша сама.

И на маленькой карточке без рамки я увидел лицо редкостной прелести и чистоты, светлоглазое, полудетское, светящееся в ореоле необыкновенно пушистых и легких, совсем светлозолотых, без сомнения, волос.

— Да она чудесная, твоя Маша!

— И внутри так же точно, как снаружи. Я даже боялась сперва узнать ее ближе. Как бы не разочароваться. Но чем ближе ее узнаешь, тем она лучше и милей. Она о тебе знает и любит тебя вместе со мной.

— Скажи ей, что и я уже люблю ее, не зная. И матери ее, если та меня помнит, шлю привет.

— Теперь пойдем, я тебе покажу другие комнаты. Один папин кабинет с тяжелым письменным столом и обитым кожей большим диваном не изменился. Видишь: грустно. И жилплощадь. Придется, боюсь, чужого вселять. Дальше здесь Любина бывшая комната, теперь Колина, показывать тебе не буду. А это бывшая наша с ним, теперь уже давно моя и Котика. Заходи. Вот его кроватка. Фотография на камине — он и Коля. Сходства между ними мало, правда? А на меня он и вовсе не похож.

— Ангелочек он, твой Котик, да и только. Локоны его золотые?

— Да. И глаза в золотистых искорках...

— Как твои, когда тебе очень хорошо.

— Тут ему шесть лет, нынче восемь. Он очень хрупок и нежен. Никогда не кричал и не кричит. Улыбается часто, а смеется редко. Плачет еще реже и всегда тихо. Знаешь, малыши ревут. Он не ревел никогда.

— Ты его любишь?

— Как свою жизнь, почти как твою.

Показала она мне и другую фотографию Котика, любительскую, нашего года, когда ему было два; таким его помнил и я.

Потом, порывшись в коробке от почтовой бумаги, свою, лет двенадцати — упрямо сжатые губы, детски выпуклый лоб, огромные глаза — и сказала:

— Бери. Тебе. Злая Верка, до любви. Лучший мой портрет. И знай, у меня есть твой. Во всей красе. Эпохи лилового кресла. "Пойдем сниматься к Буассона". Его работа. Маша как увидела, сразу влюбилась. Прячу. У Любы украла. То есть тайно дала переснять, когда она его с Каменноостровского привезла. И еще у нее выпросила... Андрик, не отними. Обещай, что не отнимешь.

— О чем ты, Верочка? Об иконе?

Она кивнула головой, еще раз молитвенно сложила руки и вынула что-то завернутое в салфетку из ящика ночного стола.

— Вот, видишь, это не ваш, это наш с тобой образок. Ночью, когда Котик уснет, вынимаю, целую, Молюсь за тебя, за Котика, за себя, за Колю, за Любу с ее светлейшим, за Машеньку, за Софью, за всех нас. Потому что это икона любви. Той же мысли, что у Рублева. Каждому ангелу и всем трем вместе молюсь, потому что они — ведь это правда? так и Церковь учит — любят друг друга.

— Да, дружок мой, сестричка, невеста моя и жена. Живоначальная это и вселюбовная Троица. И как же мне ее у тебя отнять, когда сама ты не Верочка, а Любовь.

Она вся засчастливилась. Так взглянула на меня, что мне и жарко стало и на колени перед ней захотелось стать. Но она строго, почти не улыбаясь посмотрела и спросила:

Ты, чего доброго, подумал, что мама ленточки перепутала, и что я — Люба? Нет, я — Вера. Я верую в любовь, а Люба любит любить, любит в себя влюблять, а в любовь не верует, — или так только, на половину. Неси меня теперь в комнату ее амуров и твоих.

Я взял ее на руки, но по дороге так распахнулся ее халатик и так повернулась она у меня на руках, что я чуть было не понес ее назад в комнату *нашей* любви, но она опять мне шепнула — "у нас вся ночь впереди" и минуту спустя мы уже сидели на прежнем диванчике нашем в лиловой комнате.

— Ты знаешь, — сказала она, — что мне Софья, узнав о твоем приезде, объявила? Она, оказывается, всегда думала, с тех самых пор, как ты на этой квартире стал бывать, вот бы, мол, за кого

мне замуж выходить, а Любе за моего мужа. И ведь она права. Изменяли бы они превесело друг другу, а потом возвращались бы друг к другу, да никуда бы из своей двуспальной кровати и не выселялись. Мне этого не понять. Для меня без ревности нет любви. Ведь любовь не просто же благодарность за доставленное одним любящим другому наслажденье. Безличной была бы она тогда. Но я безличного наслажденья не хочу, сочла бы его ненавистным и постыдным. А ты как о Любе думал?

— Мила мне она была не безлично, но личность ее не очень принимал я всерьез. Ну, а в Саратове, первое время, объятьями с ней пытался я заменить — не наши, нет, но чувственную их сторону. Как в музыке иногда человеческий голос заменяют скрипкой. Недолго все это длилось, ничего, ты знаешь, из этого не вышло. А ненавистными не кажутся мне и теперь, издали, наши объятья. Все-таки всегда добрые были, без ада, и еще, конечно, потому, что вы родились вдвоем.

— Хотела бы я быть тобой, Андрик, только в этой комнате находиться тебе вредно и мне, может быть, тоже. Сейчас — ничего. Посидим молча, обнявшись, а после ужина пойдем лучше в зеленую гостиную.

К ужину Софья опять по-праздничному накрыла на стол и зажгла низко висевшую над ним лампу с большим абажуром. Верочка не переменила платья, но надела темно-золотое, с большими кораллами, старинное ожерелье и два таких же, итальянской работы, широких браслета на обе руки. Назвав все это "бабушкина parure". Я пошутил было насчет ошейника для борзой и салфеточных колец на руках, но тотчас раскаялся, поняв, как она в этом уборе трагически строга и хороша, и провозгласил ее королевой обеих Сицилий, после чего она так царственно-скорбно посмотрела на меня, что я мысленно прибавил: поднимающаяся на плаху.

Сам я остался, как был, да хорошего темного костюма у меня и не было, подвязал только, вместо синего, галстук кораллового цвета. Верочка очень осталась довольна, что нашелся он в моем чемодане. Поцеловала его и шепнула: tu porteras mes couleurs ce soir.

Как хороша она была, когда села за стол против меня!

Невыносимо, прощально хороша. Улыбалась, сияла, все силы свои собрала, чтобы казаться радостной и беззаботной. Все легонькое тело ее — я чувствовал это — было напряжено, натянуто, как струна. "Любовь моя, счастье мое, прощай". Она читала это в моих глазах: "Любовь моя, да стоит ли жить, если не вместе". Тут бы рыдать, но вся редкостная сила ее духа направлена была на то, чтобы не дать разрыдаться ни себе, ни мне. Если позволить, куда бы делось тогда наше счастье? А ведь мы были счастливы, были друг с другом. С ней я был, она была со мной. Всем дыханьем своим и теплом, всем трепетом своей жизни она мне внушала: помни об этом, любовь моя, счастье мое, не забывай.

Мы просили Софью не готовить нам к ужину ничего нового; разогреть борщок, подать холодных котлет. Вина оставалось больше полбутылки. Но Софье, или подсознанию Софьи, наш ужин, как уже и обед, представлялся, видимо, каким-то свадебным пиром. Котлетам в придачу состряпала она превкусный винегрет, на сладкое подала горячих блинчиков со свежеизготовленным земляничным вареньем, а на загладку особый приберегла сюрприз. Верочка, подгрызая медленно ватрушку, умилялась усердию Софьи, но не спускала с меня завораживающих своих глаз. Борщок ее слегка остывал; тогда она разом осушила чашку. Ложечкой спокойно его вкушать было все-таки выше ее сил. Тут я стал наливать ей вино в большой бокал, чтобы аромат его ощущался сильнее; потом себе, но когда своей чуть-чуть дрожащей, неизъяснимо волнующей меня "квадратненькой" ручкой она поднесла свой бокал к губам, кисть моя ослабела, я поставил бутылку на стол. В тот же миг, сверкнув, совсем черными стали ее глаза, и она гневно шепнула, сжав губы, но и с какой-то новою жаркой лаской:

— Дай я налью сама, чтобы поровну было со мной.

Взяла бутылку, наполнила бокал и немного глухим голосом отрывисто сказала:

— Андрик, выпьем разом это вино за нашу брачную ночь, которая скоро начнется.

И подняв снова свой бокал, стала жадно пить, не отрывая взгляда от моих губ и глаз, того взгляда — я его узнал, — которым глядела на меня шесть лет назад, поднимаясь а лифте.

Потом сказала: "Какое чудное вино", совсем иначе, по-детски на меня поглядела и быстро прибавила:

— Да и зачем же нам горевать? Ведь может все повернуться и так, что года не пройдет и я буду, суженый мой, с тобой в Париже.

Восхитила меня этим так, что я залпом выпил бокал и заставил себя опьянеть, заставил поверить в ничуть, впрочем, не противоречившую здравому смыслу возможность. Когда мы принялись за второе блюдо, я налил ей и себе остатки вина и мы выпили за встречу нашу в Париже. Я стал говорить о том, как мы вместе пойдем в Люксембургский сад, поедем в Версаль, в Шантильи, и она кивала головой, говорила, что хочет пойти со мной в Sainte Chapelle, где, она знает, нет другого света, кроме волшебного сквозь цветные стекла; там мы будем с нею в раю, никуда оттуда не уйдем. Так светло и легко беседовали мы с ней, что Софья, блинчики нам подавая, подумала, должно быть: "воркуют мои голубки", а я, за нее это думая, не смог не прибавить молча: "в последний раз", и видел себя без Верочки в Sainte Chapelle и глядел на нее и знал, знал, что никогда ее больше не увижу.

Теперь она, положив варенья на блинчик, сложила его вилочкой пополам, еще раз пополам, проткнула вилочкой, осторожно поднесла к губам, чтобы варенье не потекло, положила в рот и, заметив, как я смотрю на нее, быстро проглотила.

— Милый, чего же ты ждешь? Остынут.

— Ничего. Софья горячих принесет. А уж землянику и в виде варенья никак не забуду съесть. Ты же знаешь, что я ее, только ее, одну ее люблю, люблю, *люблю* больше всего на свете.

Тут у нее вдруг слезы брызнули из глаз. Она встала, отодвинула стул, так что он упал, обогнула стол, поцеловала меня в губы сладкими от варенья губами и зашептала горячо:

— А я? А я? Да пусть все исчезнет, весь мир, все люди, даже самые родные, только бы ты со мной, нет, только бы ты *жил,* хоть и без меня.

— Верочка, — я обнял ее за талию, прижал голову к ее груди, — пусть больше не будет ничего. Верочка, ничего, ничего.

Погоди, — сказала она, — Софья идет, горячих

блинчиков несет. И действительно, Софья вошла, но несла она не блинчики, а на большом серебряном блюде такое же ведрышко со льдом и торчащей изо льда бутылкой, два хрустальных блюдечка с чем-то сладко-холодным и две свежие розы, только что, по ее заказу, откуда-то принесенные для нас.

— Софьюшка, — воскликнул я, — что же вы нас так балуете! А насчет шампанского вряд ли Николай Николаевич вас похвалит.

— А с чего ж ему бранить, Андрей Алексеич, не его. Это я, как порядки-то новые пошли, еще при старой барыне кое-что припрятала, — из вина, да из посуды дорогой, чтоб не сразу все распродали. Вот и пригодилось. С кем же Верочке и шампанское пить, как не с вами? Оно, правда, сухое; устрицы таким запивают, барин покойный меня учил. Зато хорошее. И приготовила я вам персики компотные со сливочным мороженым и соком от земляничного варенья. Пэш Мельба зовется. Видите? Берите меня, Верочка, в Париж с собой. Я и по-французски говорю.

Верочка бросилась обнимать Софью, а я вынул бутылку из ведра: Heidrick Monopole sec.

— Ну, мадам Софи, дайте мне теперь салфетку и принесите три фужера. Я откупорю бутылку, а вы садитесь с нами, отведать ваших пэшек — мы вам каждый от своей порции частицу отделим — и выпить шипучки с нами за будущее всех нас в Париже.

Пришла, села, выпила два глотка, попробовала мороженого, глядела счастливой, помолодевшей, а слезы то и дело выступали у нее на глазах, и когда она оставила нас вдвоем, было ясно, что дольше удерживать их она не в силах.

Верочка хотела вернуть ее, пойти за ней: "Что же это, радость у нас или горе?", но я удержал ее.

— А мы разве знаем? Она так нас любит, что и сказать ничего не может. Но что верно, это что всё бы она отдала, чтобы видеть нас в радости, а не в горе. Порадуем же ее. Вот я вижу, что глаза твои золотистыми стали. Не от горя, нет? Ну, скажем, и от шампанского немножко. Смотри, сколько его еще осталось. Вот и будем весело его пить. И ведь мы же разумные существа или нет? А по разуму вполне может быть, что Коля одумается,

что так или иначе ты будешь в Париже, если не осенью, то зимой. Вот мы там и закажем себе устриц — их еще и в апреле можно есть — и к ним такого же шампанского. Говорят, что устрицы помогают в любви не хуже, чем яблоки. А нам и помощи не нужно.

Верочка вспыхнула. Заискрились ее глаза. Она сделала губами движение поцелуя, подлила мне вина, подлила и себе и мы быстро выпили всю бутылку, не забывая ни последних блинчиков, ни мороженого. Мы не опьянели. Мне только стало казаться, что не глаза Верочки искрятся, а искрится, как шампанское, она сама. И словно сквозь туман, с другого берега реки, дошел до меня ее голос:

— Никогда я столько шампанского не пила, даже на моей свадьбе. И ведь охмелела тогда, а теперь трезва. Люблю тебя и хочу, но тут хмель ни при чем. Так обниму, что с ума сойду и сведу; вместе сойдем с ума. Вот мой ошейник коралловый, вот браслеты — возьми. Буду голее без них. Ты их целуешь? Ты целуешь на них мое тепло? Оно само будет скоро твоим. Чуть-чуть потерпи. Я должна Софье что-то сказать, да и тебе. Пойду покуда в зеленую гостиную.

Она выскользнула на кухню, а я кораллы ее взял с собой, сел в темной гостиной на диван и все время прижимал их к губам до ее прихода.

Пришла она скоро, успела все с себя снять и надеть один, доходивший ей до колен, осенний халатик. В руках держала небольшой лентой перевязанный пакет. Зажгла свет. Села против меня в кресло. Стала сразу же очень деловито говорить.

— Софья разбудит нас в семь. Все готово для твоего отъезда. Она не плакала больше. Обняла меня и сказала: "Верочка, у всех нас троих сегодня был самый счастливый в жизни день", вот и говори после этого о борьбе классов, о вражде к "господам" и прочей нынешней чепухе. Но погоди, есть другое дело. Не смотри так упорно на мой капотик, может распасться на лоскутки. Послушай меня. Ты помнишь папу? Он так умно, так вовремя умер, за месяц всего до "Февраля". Распутина ненавидел, но после его убийства стал ожидать гибели, не монархии только, но и России. Я была при нем, когда он тут, в кабинете, на кожаном диване умирал. Однажды, в те

дни, будучи со мной наедине, он подозвал меня, дал ключ, велел отпереть потайной ящик письменного стола и вынуть оттуда "тяжелый мешочек". Я вынула; он был полон золотых монет. Папа сказал: "Это тебе, если очень будет нужно". Вечером в тот день он уже лежал на столе. Теперь слушай: я все это, с помощью Коли, обменяла на французские ассигнации. Это — не много. Тридцать тысяч франков. Но я знаю, что у тебя нет ничего. Ты проживешь на это год, а то и дольше. Не возражай! Деньги эти не Колины, а мои. Я ему сказала, что меняю их для тебя. Он и не подумал возражать. Был очень рад помочь твоему отъезду. Вот и ты не возражай. Ничего не говори. *Ты* — мой муж. Все мое — твое, как и я вся твоя, только твоя. И она меня так жадно и жарко поцеловала, что голова моя совсем пошла кругом. Я поднял ее на руки, понес, халатик распахнулся...

Когда мы очнулись в постели Маши Брянцевой, был всего лишь одиннадцатый час. Верочка вспомнила, что браслеты, ожерелье и пакет с деньгами остались в гостиной, накинула халатик и пошла туда. Кораллы отнесла в свою комнату, а пакет принесла в нашу. Вернувшись, у постели лампу зажгла, и так умилила меня в этом своем одеянии, что я сказал:

— Листик мой осенний, ложись ко мне в своей одежонке, я хочу ее на тебе целовать. Тебе до осени далеко, но ты и в осень твою чудненькая будешь. Подсохнешь чуть-чуть, но краса твоя и зимы не боится; соразмерностям твоим и от зимы угрозы нет. Листик мой любимый, что это за материя легонькая такая, что я ее на тебе, вместо тебя целую, и все-таки душу твою не перестаю целовать?

Она рукой зажала мне рот.

— Молчи. Милый, молчи, не целуй. Я уже завидую капоту. Сниму его: жарко. Целуй *меня*. Да не в том дело; знаю, знаю... Я сама — капот. И сама ведь я тоже не могу сердце твое поцеловать. Андрик, целуй меня, целуй, возьми опять, целуй, как хочешь. Только ради Бога рук и ног моих не целуй, как тогда целовал. Ой, не надо. Счастье мое, жизнь моя, не надо. Умру. Лучше вот так, зверь мой; о мой зверь, вот так...

Всю ночь мы лежали обнявшись. Засыпали блаженно в объятьях друг у друга. Просыпались, целовались, обнимались, засыпали снова. Верочка, когда я начал вновь целовать ее руки и

не мог остановиться, вдруг совсем громко сказала:
— Господи, отчего он меня так любит? Отчего я так ненасытно хочу его и люблю?

За четверть часа до того, как Софья пришла нас будить, Верочка проснулась и шепнула мне в ухо:

— Андрик, возьми меня еще раз, если можешь.

Я обнял ее, и она, в полуобмороке еще тихонько стонала, когда Софья постучала нам в дверь. Я крикнул: "Встаем!", приподнялся на локте, стал Верочку вновь исступленно целовать, но она обхватила меня руками, прижала полураскрытые губы к моим и чуть слышно сказала:

— В последний раз. Больше не буду. Нельзя.

Покуда на мне еще ничего не было, она развернула пакет, вынула холщевый мешочек на шнурке с деньгами, повесила мне на шею.

Мы стали быстро одеваться. Она была готова раньше меня. Я спешно выбрился, смочил голову водой, причесался. Мы сели за стол. Софья сварила для нас крепчайшего кофе. Я съел две ватрушки; Верочка есть не могла. Когда все было готово и племянник Софьи пришел, чтобы взять багаж, мы втроем, как водится, сели, потом встали, перекрестили друг друга, обнялись; Верочка едва коснулась моих щек губами. Спустились вниз. Усесться на дрожках втроем было бы нетрудно, если б не мешали большие чемоданы. Но мы откидную скамеечку убрали, положили чемоданы друг на друга, на них села боком, с вытянутыми ногами Верочка, как самая маленькая и легкая. Всю дорогу она держалась рукой за мои колени. Путь наш был далекий, а ехали мы не быстро. Приехали всего за четверть часа до отхода поезда. Когда завидели вокзал, Софья вдруг горько заплакала и, заметив мой взгляд, сказала:

— Когда любящих разлучают, ангелы Божьи и те плачут на небесах.

Прослезился и наш возница, когда снимал чемоданы и передавал их носильщику. Я спросил, как его зовут и женат ли он. Узнал, что женат и что зовут его Васей, а ее Катей.

— Вася, — сказал я, — никогда не обижай Катю и никогда не расставайся с ней.

— Не дай Бог. Не буду.

Мы с ним облобызались и я дал ему денег на подарок жене. Носильщик привел нас к вагону. Верочка окаменела. Она меня перекрестила, но не захотела поцеловать. Обнялся я с Софьей, которая также меня перекрестила. Верочка велела мне идти в вагон, сказала чуть слышно "прощай" и больше не вымолвила ни слова.

Я тотчас подошел к окну, высунулся. В двух шагах от меня стояла Верочка, за ней Софья. Полные слез Верочкины глаза глядели на меня не мигая. Я, не отрываясь, глядел на нее. В мыслях у меня было: как это гром не грянет, не разверзнутся небеса, не ради ничтожных нас, а ради любви, что выше людей и огромней мира.

Она все смотрела. Сжала руки, прижала их высоко к груди. Губы ее слегка зашевелились. Я не слышал звонка, свистка. Услышал только надтреснутый голос Софьи:

— Прощайте, Андрей Алексеич!

Не мог ничего сказать. Улыбнуться тоже не мог. Вынул платок, махнул всего раз в их сторону. Поезд уже двигался. И вдруг, когда он ускорил ход, Верочка, протянула вперед руки, растопырила пальцы и бросилась за ним. Но побежала и Софья, схватила ее в последний миг. Тут поезд завернул вбок и они исчезли.

Вид мой был должно быть хорош. Человек напротив, в солдатской шинеле, но в очках и штаб-офицерской осанки, похлопал меня по колену и сказал:

— Обезумела ваша жена. Это пройдет. Нянюшка ее удержала. Что ж, не пускают ее с вами?

— Не пускают.

— Черти, — пробормотал он, — настоящие черти. — Вынул из кармана шинели фляжку с металлической крышкой, образующей чарку, налил туда нечто прозрачное, протянул мне и сказал, — пейте разом.

Я выпил, обжегся, даже рот после этого раскрыл.

— Спасибо! Это у вас сверхводка какая-то.

— Восемьдесят градусов.

Порылся в другом кармане, вынул черный сухарь и дал мне заесть. Но разговора не продолжал. Были в купе и другие пас-

сажиры. Один из них тоже глядел на платформу, когда поезд отходил, но хранил ледяное и явно враждебное молчание.

Водка мне помогла. Я подумал: осталась жива и останется. Ради Котика. И для меня, для меня. Ведь сама говорила: пока жива, буду живая с тобой живым, даже в разлуке. И почему, почему не приехать ей ко мне с Котиком, почему не приехать в Париж с мужем или без мужа. Боже мой! На волосок. Если б... Что бы ни случилось,Софья ее не покинет. Но почему же ей не уехать с Колей или нет, но во всяком случае с Котиком и Софьей? Ведь если б не "черти", я увез бы их сейчас. Положим, не увез бы, но тогда не уехал бы сам. Наверное буквально бывает вернее верного. Я как будто соврал, сказав, что ее не пускают. Но ведь именно они заставляют меня расстаться с ней. Он назвал кухарку нянюшкой и был совершенно прав, а Верочку моей женой — и что ж? Нет и не будет на свете никого, кого я с тем же правом мог бы назвать женою. С Любой венчала меня Церковь, а с ней Тот, кто смерть от нас отогнал и тем самым спаял нас друг с другом. Не благословил, но и не плотью одной припаял. Она ждала меня шесть лет и я ее. Бог... Нет, Он благословил. Что бы дальше ни было, благословенье нам эта любовь, а не отмщенье. Если даже будем ждать друг друга еще шесть лет и больше, даже если не дождемся никогда. Страшно. Но любовь наша — свет. И внутри себя мы навсегда останемся друг с другом.

Ребрышко, листок мой, уезжай ко мне. Видишь, я же уехал, а ведь знаю, что не вернусь. Не только с тобой и с Софьей прощаюсь, но и с Россией. Да ведь ты и Софья, вы и есть те две России, которые мне дороже всех других Россий. Твои бабушкины кораллы и Софьин серый платок, что снимет она с себя, если ты с Котиком будете зябнуть, и вас им прикроет. Прощаюсь еще и с этим военным против меня, и с Васей, и с неведомой Катей. Загадят, ограбят, замучают черти Россию, а все-таки дети Васи и Кати в чертей, даст Бог, не превратятся. Не переведутся, милостью Его, и Софьи, и вот такие военные, как он. Пожалуй, такие, в шинелях и очках, когда-нибудь и чертей отправят к чертям. Когда-нибудь, после всего, после нас, листик мой, после тебя. Листик мой, да хранит тебя Бог, как сохраню тебя в себе до последнего моего вздоха.

III

На границе даже и не обыскивали меня, все обошлось благополучно. В Париже я немедленно отправился к Софье Игнатьевне, рассказал ей о Верочке и Котике. О Любе ей было известно столько же, сколько и мне. Она ничуть на меня не гневалась за то, что развелись мы с Любой.

Помните, я вас предупреждала, когда вы делали предложение, что она вам в жены не подходит. Вот если бы... Да было уже поздно. А что вы о Верочке так по-родственному обеспокоены, меня радует. Она, хоть и мало вас знала, всегда о вас отзывалась с похвалой. Помню, вскоре после того, как вы у нас появились, сказала: "Ты как его находишь, мама, Любиного кавалера? По-моему, он очень мил". Но скажите ради Бога, когда же они приедут? Коля совершеннейший безумец! Сергей в отчаяньи, что его лучший друг неизвестно почему решил погибать и увлекает с собой в погибель жену и сына.

Увы! Полгода спустя, она же мне сообщила, что Николай Николаевич арестован; еще через месяц, что расстрелян. О Верочке и Котике никаких у нее не было вестей.

С ужасом представлял я себе Верочкино горе, страх за Котика, одиночество. Но, конечно, и дразнил себя мечтой, что уж теперь-то она приедет, и тогда — я с ней навек. Поглубже, однако, другой голос я в себе слышал. Как раз теперь, говорил он, и не захочет уезжать. Запретит себе нарушить волю покойного насчет Котика. Не захочет "обременять" меня его сыном, зная, что не сможет дать мне моего. (Да нет же, листик мой, я буду любить его: он твой). Испугается счастья. Это — главное. Ведь я и сам... Отчего я поверить в это счастье не могу? Оттого, что было бы оно сверх меры, сверх обычной житейской меры. Любовь такая, как у нас, блаженной смерти ждет скорей, чем счастливой жизни. Но разве не представлял я себе простой, бестревожной жизни с ней, где я бы радовался каждому ее движенью, как и каждому движенью ее души, ее ума. Жгла меня порой с сумасшедшей силой мечта о ее приезде; но воображал я при этом всегда только одно: вот она выходит из вагона, я ее обнимаю, косточки ее осязаю и кончено, больше нас нет, больше нет ничего.

Мы не писали друг другу. Так было условлено, так почти и само собой разумелось, а теперь любое заграничное письмо могло погубить и ее, и Котика. Не переписывалась она, как и Люба, ни с матерью, ни с братом. Известие о Колиной смерти было получено Сергеем от шведского консула в Петербурге, с которым он был издавно знаком. Теперь Сергей послал ему дипломатическим путем письмо и недель через шесть получил ответ. Верочка, когда консул ей позвонил, отказалась его принять и сказала, что раз навсегда решила с сыном остаться в России. Содержание Сережиного письма было ей предварительно сообщено. Там упоминалось, что и я ее ожидаю.

Год спустя из того же источника мы узнали, что Верочка живет на прежней квартире и что к ней приехала со своим пятилетним сыном Люба, мужа которой расстреляли (вернее, как и Колю, пристрелили в подвале), где-то на севере, в Мурманске или Архангельске. Софья Игнатьевна так была озабочена судьбой своих дочерей и внуков, что стала понемногу сходить с ума. Сын поместил ее в психиатрическую лечебницу, где она еще через год скончалась.

А я? Что ж я? Жил себе, да жил, хотя время от времени этому и удивлялся. Благодаря Верочкиным деньгам, а затем помощи из Финляндии от моих родителей, покуда они были живы, в заработках для пропитания не нуждался, мог не тратить времени на журналистику, на частные уроки. Просиживал целые дни в Национальной библиотеке. Напечатал несколько статей в ученых журналах, двух французских и одном немецком. Готовил книгу на французском языке. Жил в дешевых студенческих гостиницах, дольше всего в той, у самой Сорбонны, где уступил мне свою комнату брат мой, историк искусства, Николай. Знакомства через него завел: Мочульский, Вейдле; будущая знаменитость — византинист Андрей Грабар. Он же мне велел "съездить, великим соборам поклониться; ничего чудесней их на свете нет"; а то я, как Аглая в "Идиоте", ни одного готического собора не повидал. Кроме Notre Dame, где, как в Sainte Chapelle, я плакал горькими слезами. Но вообще-то я и о Верочке не унывал. Бог весть почему — не считая иных минут, часов, ночей, — в полное отчаяние не приходил. Был уверен, что она жива и любит меня все так же, что она не умрет без того, чтобы я об

этом не узнал, нормальным путем, или ненормальным. Покуда на ее деньги жил, чуть ли не при каждом их расходовании мне казалось, что она ручкой своей [здесь длинное слово в рукописи зачеркнуто, — *В.В.*] сама мне сует в руку нужные бумажки или монеты. Насколько мне сиротливей стало, когда деньги эти кончились... Но весть, слава Богу, пришла. О жизни весть, а не о смерти.

Тот же шведский дипломат, теперь первый секретарь посольства в Москве, сообщил Сергею, что в квартиру на Сергиевской вселился какой-то рабоче-крестьянский сановник, а что Вера и Люба живут с некоторых пор в Москве, в деревянном доме на Арбате, занимая в нем второй этаж, со своими сыновьями, кухаркой Софьей и молодой пианисткой Марией Брянцевой. На этот раз сестры его приняли, но усердно просили больше их не посещать, передать брату и "всем его друзьям", подчеркнула Люба, чтобы никто им не писал и самым решительным образом заявили, что из России не уедут.

— Но из нашего города уехали в чужой, — подумал я. Тебя увезли, Верочка? Как мы теперь дотянемся друг до друга? Это Любиных рук дело. Но она тебя не обидит. Ты с нею, Софьей, с детьми...

Это было в 27-м году, весной. Год спустя вышла первая моя (французская) книга "Символика поцелуя". Я тотчас, тем же "шведским" путем послал экземпляр ее в Москву. Надписал по-французски "моему учителю и меценату" — пусть улыбнется, а по-русски "Верочке". Хотел прибавить "люблю и жду", но не прибавил ни "люблю" (не она ведь одна будет книжку читать), ни "жду" — чтобы не причинить ей лишней боли. Через две недели получил от шведского посольства в Париже уведомление, что пакет был передан "в собственные руки", с напоминанием, однако, что писем в Россию переправлять этим способом нельзя. В гостинице мне подали этот конверт, когда я поднимался к себе наверх. Я разорвал его на лестнице, вошел в свою комнату, сел за стол — и вдруг вообразил эти "собственные руки", развязывающие пакет, увидел их, со слезами к ним припал и такая охватила меня тоска, такая жажда Верочки, в тысячу раз сильней самого страстного желания, жажда ее взгляда, ее присутствия, ее любви, воплощенной в ее теле и душе Любви, что я до сих пор не

понимаю, как этот внезапный и сокрушительный порыв всего моего существа меня на месте не убил или почему я не открыл окно и не выбросился с пятого этажа на улицу.

В конце того же года мне предложена была кафедра истории права в Колумбийском университете и я навсегда уехал в Соединенные Штаты. Четыре года прожил в Нью-Йорке, а затем перебрался в Принстон, где на деньги одного просвещенного богача была учреждена для меня особая кафедра "Символизма и символической семантики", так как я от изучения юридических символов, которые еще преобладали в "Символике поцелуя", перешел к изучению символизирования, самого по себе. Отчасти по следам Соссюра, который, однако, от символов как раз и открещивался (этим-то он безжизненную схематичность несимволического знака и обнажил), отчасти американского ученого C.S. Peirce'a (предпосылок которого я, впрочем, вовсе не разделял), а в конечном счете и Андрея Белого (имею в виду его прочитанную в юности совершенно хаотическую, местами крайне наивную, но по направлению интереса все же пророческую статью 1909-го года "Эмблематика смысла", включенную в его сборник "Символизм").

Из Нью-Йорка и потом из Принстона я не раз наезжал в Лондон и Рим, но не в Париж, который надолго стал для меня городом, куда не приехала Верочка. Брат ее тем временем умер. Вестей от нее или о ней никаких не было, но я по-прежнему был убежден, что она жива и любит меня. Не проходило дня, чтобы я о ней не вспоминал. Уже потому, прежде всего, что усвоил привычку каждое утро молиться воображаемому ее образу — тому самому, что возник из слияния двух прощальных, с высоко прижатыми к груди руками и неподвижным взглядом широко открытых глаз. Каждое утро я вызывал в себе этот образ и говорил: "Верочка, не оставь меня. Господи Иисусе Христе, спаси и сохрани Верочку". Но я солгу, если скажу, что, переселившись за океан, продолжал хранить безупречную ей верность. Не сумел обойтись, как Люба выражалась, "без этого" и очень жалел, что нет у меня Любы, как опять-таки она могла сказать, "под рукой". В Нью-Йорке завязал я довольно изнурительную связь с дважды разведенной соотечественницей моих лет, похожей, впрочем, больше на испанку, да и отличавшейся

прямо-таки андалузской пылкостью и страстностью. А в Принстоне ирландского корня, но уроженка того же Нью-Йорка, внешностью напоминавшая, нет, не лилию, скорей водяную лилию, подарила мне свою молодую, но какую-то перемежающуюся и не вовсе исключавшую равнодушие любовь. Так что, достигнув достаточной меры охлаждения, наша связь сама собою прекратилась. Третьего "романа" у меня уже и не было охоты заводить.

Годы шли. Верочку я не забывал. Разве что привыкал к боли ее отсутствия. Десять лет прошло. В тридцать четвертом нам исполнилось сорок. Но вот, рано утром, в четвертый день июля этого года, лежа в постели с открытыми глазами, я ее отчетливо увидал: бежит ко мне по платформе, Софья ее хватает, больше ее нет. Больше ее нет, десять лет. И вдруг сумасшедшая эта нелепость, рыча, бросилась на меня, как дикий зверь. Я заорал во всю глотку, вскочил, выбежал из спальни, чуть не опрокинув на ее пороге спешившую ко мне домоправительницу (пожилую англичанку, найденную мной незадолго до того), едва извинился, не пил кофе, наскоро вымылся и оделся, сказал, что не вернусь до вечера, и убежал в соседний с моим коттеджем лес; пересек его напрямик, продираясь сквозь густые заросли, быстрым шагом отсчитал полдюжины миль по проезжей дороге, отмахиваясь от автомобилистов, предлагавших меня подвезти, просидел два часа на скамейке в саду чужого городка, двинулся дальше и лишь к заходу солнца вернулся домой, сам не зная откуда, на автобусе. Mrs. Brooks взглянула на меня и тотчас опустила глаза, молча меня накормила, спросила не нужно ли мне чего на ночь и ушла к себе, а я пошел в спальню, но спать не лег; всю ночь просидел в кресле, где под утро заснул, так что постель осталась нераскрытой. Mrs. Brooks опять ничего не сказала, но не так давно мне представился случай убедиться, что еще и в глубокой старости она помнила этот день.

За одни эти сутки я осунулся, отощал и у меня появились первые седые волосы. Еще целую неделю я ловил себя на том, что начинаю в плечах движение, которым раскрывают объятья. Она бежит, простирая ко мне растопыренные пальцы. Сейчас ее обниму, с такою бешеной силой обниму, что сердце мое войдет в ее грудь, а ее в мою, и больше ничего не будет. Ребрышко мое,

листик мой, *тебя* люблю, без *тебя* не могу. Другого мне ничего не нужно.

В то лето никуда я не уезжал, ни с кем не общался. Вернулся надолго в тот миг, десять лет назад. Призрачным стало все, что было не она. Гадкой вся моя жизнь, включая ирландку, от которой я еще не совсем отделался (она была в Италии). Работать не мог; читал, что попало; не прибавил ни строчки к той давно задуманной книге о знаках, символах и эмблемах, которую начал писать по приезде в Принстон. И если осенью, к началу занятий, пришел понемногу в себя — вернее сказать вернулся во что-то привычное, но не совсем мое — то лишь потому, я уверен, что не переставал молиться Верочке — теперь не только по утрам — ей, о ней, сквозь нее... И потому что два раза увидел ее во сне, живой, любящей, спокойной.

Начал снова писать. Главная книга подвигалась медленно; писал я ее к тому же по-английски; это было мне трудней. Зато книжку покороче, заказанную мне через год парижским моим издателем, "Россия и Запад", стал я писать играючи, никаких особых разысканий для нее не предпринимая, но все время с мыслью о Верочке, хоть, конечно, о ней ни слова и не говоря. Как-то сливалась у меня эта мысль с той петербургской Россией, которую я любил, которой не было больше, и от этого французская моя речь, казалось мне, плавнее текла и звучала теплей. Когда книга родилась — наше с Верочкой дитя — я издательство попросил послать ей экземпляр в Москву с вложением карточки Hommage de l'auteur absent de Paris. Мог бы сам надписать один из присланных мне, но решил, что такой — безличный и не из США — дойдет вернее.

Был конец ноября 38-го года. Незадолго до Рождества, стал я думать, получит она книгу. Обрадуется. Читая, почувствует, что писал я эти страницы вместе с ней, а иные втайне и о ней, о том, чем русская она, несмотря на польскую кровь и на естественность французского ее говора. Обрадуется и до чтения. Заграничный пакет, из Парижа! Сердце у нее быстрей забьется. Распакует, и там, как дитя в колыбельке... Но тут черная мысль меня обожгла: нет, в гробике я сам. Молчу, мертвец. Мертвые буквы на карточке. Визитную карточку вежливый автор послал литературной даме, лично ему, может быть, и незнакомой. Боже

мой, Верочка! Это я иглой колю твое быстрей забившееся сердечко! Что ж мне делать? Как мне себя, без вреда для нее, для всех них, поправить? Долго ломал себе голову, мучился; наконец решился — на что до тех пор не решался еще никогда. Написать. Не без хитрости, конечно. Но страшновато и с ней. Все же придумал, написал.

Поздравление к Рождеству. Словно не ей, не от меня. Выбрал открытку с детворой на льду, снегом и лесом вдали. Тщательно подделал детский почерк; адресовал Софии Герасимовне Климовой: "Дорогая бабуся! Снегу выпало много! На салазках будем кататься! Тебя обнимает и с праздниками всех поздравляет, Любу, Машу, Котика, Борю, Твой внучек Андрюша. Сестричку Верочку крепко целую. Если б море замерзло, на коньках бы к ней прибежал". В конверт не положил: легче дойдет без контроля. Послал не из Принстона, из Нью-Йорка, чтобы замести следы. Как себя ни убеждал, что ответа не будет, что он невозможен, со все растущим нетерпеньем его ждал. Места себе не находил все праздники напролет, здешние и наши. Но когда все они кончились, он пришел. Со шведской маркой, из Стокгольма; но конверт был надписан Верочкиной рукой и московского был вида, не шведского. Задержался на лишний день: адрес был университетский.

Других писем в то утро не было. Mrs. Brooks его принесла, когда я кончал пить кофе. Почерка я сперва не заметил; понес письмо вместе с газетой в кабинет. Посмотрел, узнал. Бережно разрезал конверт. Руки мои дрожали. Писем от нее пятнадцать лет не получал. Чувствовал: разрыдаюсь, что бы она ни написала. Встал. Запер дверь на ключ.

"Андрик мой, я так счастлива, что совсем ослабела. Две недели не расстаюсь с твоей книгой. То есть днем, после первых двух дней, давала ее читать Маше, Любе, Котику, Боре — все они тебя любят, всем им глубоко по душе твоя книга; но к ночи ее отбирала, читала вновь перед сном, и потом, просыпалась, свет зажигала, снова горела во мне твоя мысль, жарко струились интонации твоей речи; ими ты меня до утра нежил и ласкал. Стыдясь и счастливясь, угадывала я, что говоря о самом тебе дорогом в былой русской жизни, в душевном ее укладе, ты нет-нет вспоминал и обо мне. Да? Угадала? Ведь совестилась,

сопротивлялась; никому не сказала. Но как же мне душу твою не услышать душой? Вот и устала. Немудрено. Даже и встаю теперь поздней.

И вот двадцатого, едва проснулась, — Софья, красная, заплаканная, а вся сияет, точно вновь нам шампанское во льду на серебряном блюде несет. — "От Андрей Алексеича весть! Верочку свою любит и целует. Ай, хитер! Всех хватай-не-пущай перехитрил!"

Я приподнялась, взяла открытку, прижала к груди, упала снова на подушку, закрыла глаза: вот бы сейчас и умереть.

Софья захлопотала. Посадила, две подушки подсунула, словечки твои помогла прочесть, потому что я сквозь буковки поддельные все твой почерк угадать старалась. Помогла мне — я совсем была без сил — вымыться, одеться и свела в столовую, где уже все были в сборе, волновались и ждали меня: Маше она успела шепнуть, что весть от тебя пришла. Я ничего не могла ни сказать, ни проглотить. Маша читала. Котик дивился и сиял. Борис старался разглядеть открытку. Люба тихо сказала: "И меня вспомнил", подошла ко мне поцеловала, шепнула: "Глаза твои и в раю светлей не будут" и ушла, как по утрам всегда. Я молча вбирала в себя твою любовь, но разлука наша комком стояла в горле. Кончив читать, Маша взглянула на меня и заплакала.

Всем им было пора уходить. Котик долго целовал мне руку. Оставшись одна — одна с тобой — я успокоилась понемногу. Самое главное ответить, чтоб ты знал, что и книга и весточка дошли. И еще мне кривенькая мысль пришла, что ты открытку послал, оттого что надписи не было на книге. Тебе больно стало, ты подумал, что и мне, а я сразу поняла: хуже было бы насчет доставки, из Америки, чем из Парижа. Но я тебя сто раз нежно целую за то, что ты открыточку милую прислал. Жаль, что детьми мы друг друга не знали! Но помнишь, ты говорил, что высохну? Ты был прав: не расползлась. Могу себя девочкой ощутить, если о мальчике Андрике подумаю. Хоть и стукнет нам скоро по сорок пять.

Не могу писать много. И как знать, дойдет ли? Вот уже написала. Тот же это день; еще светло. Как послать? Давно нет в живых нашего шведа. Все равно. Другого пути не вижу. Завтра

пойду в посольство, узнаю, кого просить. Брошусь в ноги. Умолю.

Здесь, в этом доме, все тебя любят, все обнимают. Верочка всегда была и будет всегда с тобой. Андрик, я тебя люблю. Андрик, я твоя".

Много раз я письмо перечитал. И осчастливило оно меня, и расстроило. Бесконечно милая, любящая Верочка светилась в нем, но слабенькая что-то, может быть больная? Этот недоброй памяти для всех 39-й год начался для меня с ее письма и кончился другим, уже не от нее... Но на следующий же день не от нее получил я письмо из того же Стокгольма. С удивлением его прочел, и оно растревожило меня еще больше.

"Уважаемый профессор, это я, по просьбе г-жи Комовской, послал Вам отсюда ее письмо, приехав сюда ненадолго навестить моих родителей. Я — скромный служащий шведского посольства в Москве. Переписка через посольство невозможна. Пишите по прилагаемому адресу моему отцу сюда. Он знает, как мне переслать, а я отнесу лично г-же Комовской. Но серьезно Вас прошу: не пишите без крайней необходимости. Истинно Ваш Бьорк Линден".

Этот "истинно" мой — так пишут по-английски в коммерческой корреспонденции, — переправив Верочкино письмо, оказал ей и мне огромную услугу, хочет нам помочь и теперь, но ставит меня в ужасное положение. Рвусь сказать ей сию минуту, как я радуюсь, как беспокоюсь, но со стороны глядя, какая же тут необходимость, да еще крайняя? И почему эта именно формула пришла ему в голову? Может быть, по-шведски ей соответствует менее суровая? Или он знает, что Верочка под угрозой? Какой? Чем я ей отсюда могу помочь? Воздержался. Ничего не написал.

Так и далее ничего не писал и не получал. Миновал день моего рожденья в марте, Верочкиного в апреле; ничего. Четвертое июля, двадцать первое августа; все это не "крайний случай". Мрачней не было лета; ожидали войны. Она разразилась: "смешная" поначалу для французов, отнюдь не смешная для Польши и для Финляндии, которыми решили полакомиться на закуску два людоеда, выступавшие, как их образец Ульянов, под псевдонимом, что для таких дел не совсем было

принято в былые времена. Тут и все свои личные скорби уместно было бы забыть, но я волновался о Верочке все больше, предчувствия меня мучили, смутные какие-то сны, даже не о ней одной, еще и о Котике, о Любе... Я не выдержал и к именинному дню отправил через Стокгольм коротенькое письмо.

"Листик мой, боязно мне за тебя. Все мне кажется, что ты лежишь больная. Слабенькой тебя чувствую. Будь моя воля, прилетел бы я к тебе, обнял бы тебя нежно-нежно, мою голубку, ты бы встала, оделась, и пошли бы мы гулять в Нескучный Сад, а если нет его для нас в Москве, то отыскали бы другой, на небе. В день твоего ангела я всей своей жизнью с тобой и со всеми вами. Поздравь и обними за меня двух других именинниц, Машу, Котика и Бориса. Сейчас мы все семеро в церкви стоим с зажженными свечами и ты, заступница наша, жена моя перед Богом, молишься Ему за всех нас. Верочка, это дурной сон, что я далеко. Я с тобой и никому нас друг у друга не отнять. Твой Андрик".

Написал; заблаговременно отослал в Стокгольм; но мучился все острей о Верочке; особенно невыносимо, когда приблизился и наступил сам именинный день. Потом чего-то ждал, но не дождался ничего. Прошел месяц, еще один, мрачный, с мерзкими новостями месяц, и в конце первой недели декабря я узнал: Верочка получила мое письмо накануне именин; в утро после них Верочка умерла. Откуда узнал? Из Финляндии. От кого? От Маши Брянцевой. Она закрыла Верочке глаза. Ни Любы, ни Котика в живых к тому времени уже не было: их не стало в том же проклятом году, незадолго до нее. Будь они живы, была бы, вероятно, и Верочка жива... Маша Брянцева, что же, концерты она в Гельсингфорсе дает? Ведь она пианистка? Такова была первая моя глупая мысль, когда я увидел ее имя на обороте конверта. Но Советы же в войне с Финляндией, вспомнил я тут. Письмо лежало на столе в моем рабочем кабинете, находившемся в одном из колледжей. А под письмом не очень объемистый пакет, присланный оттуда же заказным. Я сперва взял конверт, вскрыл, и взгляд мой тотчас упал на весть о Верочкиной смерти. Я голову на руки уронил, положив их на стол. Как я мог покинуть ее? Отчего я не с ней, в ее могиле?

Вот что писала Маша Брянцева:

"Дорогой Андрей Алексеевич, Вы меня никогда не видели, но, я знаю, слышали обо мне от Верочки. Я жила у нее на Сергиевской с 23-го года, когда ее мать уехала в Париж, а потом все время жила с ней и с Любой в Москве. Ближе и дороже Верочки никого у меня не было и нет. От нее я все знаю о том, как вы друг друга любили. И я вас всегда любила ее любовью вместе с ней. Андрей Алексеевич, я с этого должна начать: Верочка умерла.

Она умерла 31-го сентября в семь часов утра от тяжелой и долгой, хоть и не слишком мучительной болезни (острого малокровия), но кончину ее ускорила гибель Котика в мае и скоропостижная смерть Любы в ночь на 14-е июня, во сне (сердце ее уже года два работало неисправно). Подробности найдете в конце второй Верочкиной тетради. Я Вам их обе посылаю заказным, одновременно с письмом. Тетради эти завещаны ею Вам. Все в них записанное, все самое интимное, дневниковое, все это — кроме моих, Бориса и Софьи записей в конце — письма ее к Вам, которые посланы были бы Вам, если б можно было надеяться, что они до Вас дойдут. Никто их не читал. Она мне перед смертью поручила при первой возможности передать или переслать их Вам. Сказала мне, взглянув на меня полным своим взглядом, "там есть всё и о тебе, о нас". Перед тем, как отсылать их, я хотела найти эти страницы, вырвать их и уничтожить. Но верьте мне, Андрей Алексеевич, я любила и люблю Верочку больше себя. Я их не прочла. И посылаю Вам всё.

Теперь о себе, чтобы Вас не слишком удивить собой. Собираюсь вскоре с Вами повидаться. У меня есть родственники со стороны матери в Нью-Йорке. Я к ним отправлюсь отсюда и, конечно, приеду навестить Вас в Принстон. "Конечно", оттого, что знаю, что такова была бы Верочкина воля. Так вот знайте: я изувечена. Как это случилось, Вы, вероятно, узнаете от Верочки. Факт тот, что у меня рубец и пятно от ожога на левой щеке, а на левой руке цел лишь большой палец; остальные — жалкие обрубки. Я не стара: 33 года; но с тех пор, как приведена в такой вид, не считаю себя больше женщиной. Мне и незачем ею быть. Я — сестра милосердия и врач-педиатр. Оттого и в Финляндии очутилась. Пошла сестрой на фронт и попала в плен,

— не без намерения (а то бы тетрадей не захватила). Была интернирована, но всего две недели. Подхлопотали за меня в Гельсингфорсе Нератовы, родственники покойного Верочкиного мужа. Жду визы. Не думаю, чтоб ее долго пришлось ждать. Но, конечно, Вы мне успеете сюда ответить. Надеюсь в Америке получить право врачебной практики. Люблю детей и рада, что научилась их лечить.

Какой ужасный год и как мне больно, что это письмо такую скорбную принесет Вам весть! Нам надо поскорей увидеться: мы будем утешать друг друга беседой о нашей Верочке. Чувствую, что она откуда-то смотрит на меня и на Вас своими необыкновенными глазами.

Помните рояль в зеленой гостиной? На нем лежали мои ноты, когда Вы его видели в последний раз. До отъезда в Москву, я успела окончить Консерваторию, а в Москве первое время играла на Вашем Бехштейне. Да, на *Вашем;* наверное об этом и в тетради (первой) сказано. Люба его перевезла; думайте о ней хорошо — бедная, милая. Ну а потом продали его, чтоб я, глядя на него, не плакала.

Дорогой мой друг — потому что я знаю: Вы мне друг — в тот день, когда Вы ночевали в моей комнате, я совсем еще девочкой была, мне никто и восемнадцати лет моих не давал; девочкой влюбленной в фотографию Вашу от Буассона, и в рассказы Верочки о Вас. Этой девочки нет, давно уже нет; но для Вас я Машей остаюсь, порченной, а все же Верочкиной Машей".

Прочитав письмо, я долго еще сидел за письменным столом в оцепенении, не распечатывая пакета. Потом взгляд мой упал на календарь, где было записано, что один мой слушатель в 11 часов зайдет сюда для долгой беседы. Была половина десятого. Я встал, взял письмо и пакет, запер дверь кабинета на ключ, сказал секретарше колледжа, что я нездоров и чтобы она отменила назначенную мной беседу. Отправился на почту, послал Маше телеграмму: "Тысячу раз спасибо. Счастлив буду видеть. Жду с нетерпением. Письмо следует. Андрей". Пошел домой. Сказал моей седенькой Mrs. Brooks, что чувствую себя неважно, посижу весь день дома и не буду отвечать на телефонные звонки. Затем, выслушав ее обычное yes, sir (но заметив, что она участливо на меня взглянула), пошел к себе, в свой кабинет

— sitting room, подошел к столу, вскрыл пакет. В нем были две сафьяновые, с золотым обрезом, толстые тетради — черная и темно-синяя — давным-давно купленные у Бэхли, на углу Невского и Большой Конюшенной — почти сплошь исписанные высоким и узким Верочкиным почерком. Пятнадцать лет ее жизни без меня! Теперь, ее лишившись, задним числом проживу их с ней.

Не вычеркну, не изменю, не прибавлю ни слова. Две эти тетради составят вторую и третью части моего повествования.

В. Вейдле

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Продолжение следует

*

Так, Ирина! Жив старинный
Голос сердца. Берегу
Привкус корки мандаринной
На морозе, на бегу,
На рождественском снегу.

Так, душа. На том стою.
Наша встреча не случайна.
В вашем смехе узнаю
И лукавинку, и тайну,
И беспомощность свою.

Так ли холодно в раю?
Так ли уж необычайно?

Лия Владимирова, 1979

ВЕТЕР

Когда в зеленой тишине —
Резвясь, взыграет ветер сильный
И треплет радостно на мне —
Мой дождевик дорожно-пыльный —
Я чувствую в себе порыв
Он раздувается как пламя ...
Мне хочется себя забыв —
Весь мир прижать к груди руками.
И начинает грудь болеть.
И весь, как бы, наполнен шумом —
Я начинаю дико петь —
В какой-то радости безумной.
Внимает — лес, поля, трава —
Моим восторгам и моленьям
И вырываются слова —
Как искры полные горенья.
И гибнут словно на огне.
Их разгоняет ветер сильный —
И треплет радостно на мне —
Мой дождевик дорожно-пыльный.

ЗВОН

Мне объясняют — звон в ушах
Моим же кровообращеньем.
Не правда! Я живу в сетях
Всемирного сердцебиенья.
Большие беды предстоят.
К земному раю — нет дороги!
В моих ушах звенит набат
Растущей в воздухе тревоги.

А. Величковский

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Вера прекрасно понимала, что оставаться опасно. Но уходить с немцами? Ей не хотелось. И как всегда бывает, когда нет ясного решения, советы друзей за и против кажутся одинаково правильны... Уговоры пана Пчелки и Никандра Ивановича и других друзей — уходить — не убедили Веру. А самым решительным доводом, чтобы остаться в Киеве, был разговор с родителями ее учеников:

— Не уходите Вера Владимировна! Мы все за вас горой станем! Вы одна, во всей школе, о детях думали и заботились, в самые трудные дни были с ними. Если что, мы все пойдем и докажем там где нужно будет! Оставайтесь!

Вот она и осталась... Красная Армия подошла совсем близко. Школу закрыли, почти все учителя уже уехали с немецкими учреждениями. Многие знакомые тоже побросали все и потянулись вслед за отступающими немцами. Бои шли около Броваров и у Гастомеля. Все говорили, что красные войска войдут в Киев со стороны Пущи. Вера решила пересидеть несколько дней, пока город не будет занят, в доме Аниных родителей на Караваевке, где ее очень любили и где она себя чувствовала как дома. 2-го ноября Вера пришла к Ане, а 6-го Киев был занят Советами.

Последние немецкие части прошли через Караваевские Дачи еще под вечер в пятницу. Паники среди них не было, но солдаты были хмурые, злобные. Население редкими кучками стояло у своих домишек и со смешанным чувством следило за проползающей по улице колонной отступающих. Сосед Шамриных, родителей Ани, тоже рабочий с "Большевика" с оттенком

Отрывок из романа. РЕД.

насмешки прощально помахал проходившим пешим строем немцам, и в ответ один из них выстрелом из револьвера убил его... Улица мгновенно опустела и уже никто не рисковал глядеть на покидающих город немцев.

Всю субботу люди сидели по своим домам в ожидании Красной Армии, но самые передовые ее части появились на Караваевке только рано утром в воскреснье, 7-го ноября. Весь день накануне из города доносилась стрельба, потом к вечеру утихло, а на рассвете снова загремели выстрелы, но уже со стороны Соломенки и Голосеевского Леса. Как уходили из Киева советские части два года тому назад, так они и вернулись... Грязные, оборванные, плохо вооруженные, только теперь на плечах у солдат были пришиты погоны. Эта передовая часть была наверное народным ополчением, большинство красноармейцев были пожилые, давно небритые, а многие и с отпущенными бородами. Паршивые мелкорослые лошаденки с трудом тащили телеги и возки с пулеметами, минометами, ящиками и мешками. Казалось просто невероятным, что такая армия смогла не только воевать с немцами, но побеждать и гнать от Москвы и Сталинграда вот уже до Киева и вероятно дальше до самых границ, а может быть, и еще дальше...

К дому напротив Шамриных подошли трое, попросили пить, а если найдется что, то и поесть.

— Давай, давай тетка, шевели суставами! — говорил худой, рабочего типа солдат. — Давай, что при немцах припасла. Ишь ты! Ряшку какую отъела. — Говорящий хмуро и неприязненно разглядывал, действительно пышущую здоровьем румяную пожилую женщину, стоящую на крыльце.

— Не твой хлеб ела, своим горбом добывала, — окрысилась женщина. — Нету у меня ничего... солдаты называется! Как бродяги под окнами побираетесь... Солдат усмехнулся и переложил свой автомат в правую руку.

— Вот ведь балда толстозадая. Ты, мать твою навылет...понимаешь, что передовая здесь сейчас? А, ну...мигом! Одна нога не кухне, другая здесь! Марш, паскуда старая! — солдат гаркнул, смахнув улыбку с лица. — Понятно это тебя?

Женщина осеклась и, со страхом глянув на автомат,

скрылась в дверях и через минуту вынесла хлеб, какой-то кувшин и большую миску.

— Ну вот видишь и нашлось, — ухмыльнувшись, сказал солдат.

— Да мне что, жалко что ли... ведь свои пришли. Товарищи, значит. Намаялись мы здесь без вас под немцами, — совсем уже другим тоном заговорила она. — И то сказать, два года ждали... освобождения...

— Заткнись, тетка, и не бреши... не наше это дело. Вот подтянут тылы, тогда и расскажешь, кому следует, как ты два года страдала, нас дожидаючи.

Вера и Аня стояли у забора и наблюдали всё это. К ним тоже подошли несколько солдат, попросили еды. Им принесли свежий хлеб и кувшин с молоком. Моложавый солдат с повязкой на голове залпом выпил кружку молока и снова протянул ее Вере.

— Ну-ка, плесни еще одну... ух, хорошо! А вы как тут... жили при немцах значит? Что делали? Работали?

— Жили... работали... — нехотя ответила Аня.

— Ну, к примеру сказать...какую работу работали? — настаивал солдат.

— Говорите красавицы, интересуемся послушать, — поддержал другой.

— Я в больнице, а она, — Аня кивнула голову в сторону Веры, — в школе.

— И остались? Не боитесь? — сверкнул глазами солдат с повязкой.

— А чего ж бояться-то? Свои пришли...не враги. Мы ничего плохого не делали, своему же народу помогали...

— Ну и дуры значит... Определенные дуры! Нужно было вам сматываться со своими дружками фрицами да карлами... А теперь придется вам рассказать о своей работе поподробнее. За нами идут особые специалисты по таким делам. С немцами они встречатся не очень любят, а вот с теми, кто при немцах работал, поговорить очень охочи. Любопытные до всяких деталев, всё попросят рассказать... Ох и дурехи! За молоко, конечно, спасибо вам, красавицы... Пошли ребята.— Обратился он

к своим и, отойдя несколько шагов, повернулся и еще раз не то с насмешкой не то с сожалением протянул: Ну и дурехи...пожалеете...

Прошла эта передовая часть и сейчас же за ней с грохотом моторов и лязгом гусеничных цепей прокатилось несколько танков, оставляя за собой смрадный шлейф бензинного перегара и снова улица заполнилась пехотой. Но это была уже строевая часть. Шли строем, солдаты были помоложе и одеты получше. Эти прошли быстро, не останавливаясь, только один солдат, проходя мимо, сделал грубый, непристойный жест, его соседи по строю захохотали и отпустили пару похабных замечаний по адресу женщин.

— Вот как... — тихо сказала Вера. — Остались... что будет? Как это все теперь будет?

— Обойдется...глупости говорил этот с повязкой... Ну может вызовут на допрос...вполне возможно... А преследовать нас не за что. Миллионы нас были под немцами... мы же не виноваты, что армия отступила и немцы заняли страну...миллионы ведь не смогли эвакуироваться, — неуверенно сказала Аня.

— Да, конечно...Я пойду домой, в школу. Что мне здесь делать? Пойду. — Вера попрощалась с Шаминьми.

Пошла она на Куреневку по окраинным маленьким уличкам. Военные встречались редко, то тут то там проходили мелкие отряды грязных усталых вооруженных людей в мешковатой грязной форме со смешными широкими погонами на гимнастерках... командиры мало чем отличались от рядовых... И снова пришла в голову мысль:как они могли победить немцев? В чем их, вот этих оборванных, грязных и измученных солдат, сила? Или в чем слабость ушедших немцев с их машинами, танками, шикарными офицерами. Пожалуй, был только один ответ: это все-таки свои, а те пришли и ушли врагами, завоевателями, жестокими завоевателями...

Вера вышла на Дорогожицкую. Здесь было много народа и все шли в одном направлении к церкви святого Федора.

— Вешают там! Поставили в садике виселицы и вешают. Ловят попрятавшихся фашистов и изменников и петлю на шею! Привозят на грузовике, руки свяжут за спиной, петлю на шею... грузовик отойдет, а они на веревках ногами дрыгают. Минута и

готово! Капут! — возбужденно говорила молоденькая бабенка, пошедшая рядом с Верой. Она округлила глаза, высунула язык и схватила сама себя за горло, наглядно показывая этот "Капут".

Вера остановилась. Смотреть на "капут" ей не хотелось, но и возвращаться было уже поздно, слишком большой крюк пришлось бы сделать, идти на Подол по Глубочице.

— Пойду... не буду смотреть и пройду, — решила она. На развилке Дорогожицкой и Овруческой все было запружено большой толпой народа. Вера мельком увидала несколько тел, висящих на веревках над толпой, она опустила голову и протискивалась сквозь сплошную толпу, чтобы поскорее оставить это страшное место. Рядом также не поднимая голову и не смотря по сторонам, пыталась пробить себе дорогу пожилая дама в стареньком пальто, смешной старенькой шляпке и с пенсне на носу.

— Ужас...просто ужас... — шептала она. — Совсем с ума сошли люди! Бегают по домам, кого-то вылавливают, друг на друга доносят...ябедничают... солдаты какие-то специальные арестовывают... потом вот сюда волочат и вот... Ужас, что делается...

Со стороны, где стояла виселица, вдруг поднялся шум и крики и кто-то высоким фальцетом, покрывая общий гул, завопил:

— Пустите...пустите...я докажу... я всем... — голос резко оборвался. И совсем рядом с Верой высокий худой мужчина в полушубке спокойно и насмешливо сказал:

Доказал... Теперь на том свете доказывай...авось, послушают.

Вера наконец вырвалась из толпы и быстро пошла по Овруческой.

— Господи...Господи... Что за люди! Доносили в НКВД на своих друзей, сослуживцев за антисемитские анекдоты, за контрреволюционные высказывания, за украинский шовинизм... Доносили в Гестапо и полицию на коммунистов и москалей, вылавливали попрятавшихся евреев и тащили их на расстрел в Бабьем Яру... А теперь волочат фашистов, полицаев и коллаборантов на виселицу... О Боже, мой Боже... Что же мне делать? Вера впервые остро почувствовала свою

обреченность, полную безнадежность, как будто стоит на самом краю попасти. Свои, чужие...расстреливают, вешают, мучают, издеваются...большевики, нацисты, евреи, украинцы, русские...друг друга... Вот приду домой, арестуют и меня... замучают...надругаются... Что же это такое?

Что делать? — Вера быстро шла, не замечая никого, и плакала...

— Эй, стой! Стой, тётка, ты что в чувале тащишь? — Вдруг услышала она резкий окрик. Подняв голову, увидала двух молодых солдат, переходящих улицу. Оба были необычно хорошо одеты в шинелях, начищенных сапогах и в фуражках с ярко алыми околышами. — Что там у тебя? Что волочишь тётка?...ай нет...сестричка...молодовата для тётеньки... Покажика?

— Так...ничего особенного... гостинец от знакомых... — жалко и испуганно улыбнувшись, сказала Вера, силясь развязать мешок с продуктами, которыми ее снабдила мать Ани, когда она уходила от Шамриных.

Солдат взял из рук Веры мешок и сам развязал его. Сперва заглянул в середину, потом запустил туда руку и пошарил в мешке.

— Ничего особенного, — как бы передразнивая Веру, сказал он. — Ну, забирай свое добро. Да не пугайся, свои же мы, не фашисты... Или немцы к тебе ласковее были, красавица? Беги домой, да вывеску свою помой, грязная вся. Ты что, плакала что ли? Радоваться теперь надо, а не слезами умываться. Своя власть вернулась, советская! Ну, мотай дальше, — и солдаты пошли вдоль улицы.

Уже недалеко от своего дома Вера решила: — Соберу немного на дорогу, у Сверчихи займу советские деньги, у нее наверно есть, и завтра же утром уйду. Буду пробираться в Воронеж к папе и маме, как-нибудь доберусь, здесь оставаться нельзя. Выйду как можно раньше...

Минут десять пришлось простоять на углу, по улице продвигалась большая колонна войск, а за ней целый караван маленьких необычного вида каких-то квадратных низких автомобилей. На этих машинах сидели по три-четыре человека солдат в фуражках с ярко-красными околышами.

— Это СМЕРШ! — сказал парнишка лет 15-ти, стоявший рядом с Верой на тротуаре. Вера знала его, он был местный и жил почти рядом с домом Сверчихи.

— Эти пить дадут! А машины американские, "Жип"! Так называются, Жжжип! — он с особым вкусом произносил это странное слово "жжжип".

Когда Вера рассказала Сверчихе о своем решении уйти к родителям, та одобрила.

— Конечно иди. Время сейчас тревожная будет... а там все-таки папаша твой человек с положением. Под его крылышком и перебудешь месяц-другой, пока пыль осядет. Только как доберешься до Воронежа-то? Далеко ведь?

— Как-нибудь доберусь.

— Ну, садись обедать. Я на радости, что товарищи вернулись, вот курча прирезала. Праздновать, значит, будем, что советская власть снова настала у нас...тряпця ее матери!

После обеда Вера пошла в свою комнату приготовиться к завтрашнему. Еще было светло на дворе, когда она услышала громкий стук в входные двери, а потом разговор Сверчихи с кем-то:

— Учителька твоя дома?

— Дома. А зачем она тебе, Жорка?

— Значит дело есть, если спрашиваю.

Вера открыла свою дверь и вышла в общую комнату.

— Что случилось? — в дверях стоял тот-же мальчишка знавший название странных машин "Жип".

Гражданка учителька Пономаренко, районный уполномоченный приказал, чтобы немедленно вам явиться в Райсовет, значит, давайте...вот. А я как рассыльный Райсовета, значит, — он с важностью показал на красную повязку на правой руке, — этое приказание и передаю... Вот!И давайте значит сразу.

— Я сейчас оденусь и приду. Вера как-то сразу успокоилась. — Ну вот, будет допрос и все мое положение выяснится. И ничего страшного, — подумала она.

— Приказал, чтобы вместе шли... значит. Вот. Подожду я, а вы, гражданка, скорей копайтесь, время у меня служебная... Вот! — начальническим тоном сказал Жорка.

— Сопляк ты паршивый, как говоришь с учительницей! — возмутилась Сверчиха.

— А ты помалкивай, Сверчиха... не твое это дело. Тебя тоже позовут. Вот тогда и почирикаешь! — входя в роль начальника отрубил Жорка и сел на стул.

Вера быстро оделась и в сопровождении Жорки зашагала к Райсовету. Снова при переходе через Константиновскую пришлось подождать. Со стороны Подола вели большую толпу пленных немцев, окруженных конвоем красноармейцев верхом на лошадях. Немцы были усталые, еле плелись по мостовой, а солдаты конвоя подгоняли их криками, а иногда и ударами плёток и палок.

— Вот ведут фашистов. Теперь мы им покажем, как с нами воевать! — с гордостью сказал Жорка, будто сам он воевал и сам забрал их в плен. Вера вспомнила, как еще так недавно по этой же самой дороге, немцы гнали оборванных, измученных красноармейцев, награждая их бранью и ударами палок. — Одно и тоже... то немцы красноармейцев, то красноармейцы немцев...и когда же все это кончится?

— Имя? Полностью! — спросил сидевший за столом (в комнате, которая была еще до немцев, кабинетом председателя районного Совета, а при немцах — начальника местной куреневской полиции пана Козырько) узколицый и угреватый командир с красными петлицами и маленькими звездочками на погонах, окинув Веру взглядом.

— Вера Владимировна Пономаренко.

— Занятие?

— Учительница школы 1-й ступени.

— Что при немцах делали?

— Преподавала в той же школе.

— Адрес школы и ваш личный?

Вера сказала. Офицер заполнял какой-то бланк. Писал он левой рукой.

— Почему остались при отступлении Советской армии?

— Считала необходимым остаться с детьми школы.

— Вот как? — офицер посмотрел на Веру и усмехнулся. — Остались преподавать им, учить... Чему-же вы учили их при немцах?

— Тому-же...читать, писать, считать...

— Замужем?

— Вдова.

— Умер муж? Когда?

— Погиб при исполнении служебных обязанностей осенью 39-го, в Польше.

Солдат был?

— Медик.

— Почему не ушли с немцами? Многие сбежали.

— Зачем же мне уходить из дому? Я советская гражданка и учительница советской народной школы.

— Родственники здесь в Киеве есть?

— Нет. Родители в Воронеже.

— Что отец делал до войны?

Паровозный машинист-инструктор. Стахановец и орденоносец.

— Ишь ты! Знаменитый папенька... офицер откинулся на стуле и, наклонив голову на бок, рассматривал Веру. — Папаша орденоносец, а доченька вот подстилкой фашистской стала, фрицев в кровати обслуживала.

— Как вы смеете! — вспыхнула Вера.

— Я многое смею... — Офицер встал из-за стола и вплотную подошел к Вере. От него пахнуло запахом спирта и жареного лука. — Я многое смею... смею пристрелить тебя, смею в казарму солдатам на ночь отдать, смею сам переспать с тобой, смею... — В дверь постучали. — Входи, кто там есть! крикнул офицер, возвращаясь на свое место. — Сядьте на тот стул, Пономаренко, — сказал он, показав рукой на стул у стены.

В комнату вошли два солдата и старик в штатском. Вера знала его хорошо, это был заведующий почтовым отделением на Куреневке.

— Вот этот, товарищ капитан. Мы и дома у него нашли несколько, вот они. — И солдат положил на стол несколько тоненьких брошюрок. Вера издали узнала их. Это были пропагандные книжёнки, в обилии издававшиеся при немцах.

— "Як москали та жиди руйнувалы Украину", — прочел заглавие одной из них офицер, потом взял другую. — "Велыка Германия допоможе вызволиты Украину вид жыдив та

коммунистив". — Откуда это у тебя, старина? — спокойным, даже как бы дружеским тоном спросил он.

— Получал с центральной почты.

— Сам читал?

— Поинтересовался.

— Понравилось? — одними губами усмехнулся офицер.

— Нет.

— Шутишь?

— Нет, правда...глупо написано.

— По адресам отправлял?

Офицер оторвал передний лист брошюрки. — Ну вот как... не понравилось...ну, скажи на милость... не понравилось... На, — он протянул оторванный лист старику. Старик взял листок, с недоумением глядя на офицера.

— Ешь, дорогой.

— Что? Как так ешь? — удивился старик.

— Обыкновенно...пожуй, пожуй и глотай. Может, теперь больше понравится.

— Я...— старик что-то хотел сказать, но офицер поднял лежащий на столе револьвер и пальцем показал на дуло. — Угощайся, старина, авось понравится.

Старик побагровел, скомкал листок и, сунув его в рот, стал жевать. Солдаты посмеивались, а капитан спокойно и равнодушно наблюдал за несчастным стариком, судорожно жевавшим и старавшимся проглотить бумагу.

— Ну как? Не так уж плохо, как ты говорил?.. Торопись ужинать, папаша, времени у тебя в обрез. Пора и на отдых, устал ведь ты.

Старик сделал усилие и, проглотив бумагу, сильно закашлялся.

— Дай воды ему, — приказал офицер одному из солдат и пока старик пил, продолжал, — Вот и молодец, справился с ужином. Хватит? Забирай его, Кузьмин... успокой его, видишь, как бедняга разволновался...там...сам знаешь.

А что прикажете делать с парикмахером этим, что дожидается?

— Дай ему в зубы пару раз и скажи, чтоб был здесь завтра утром в 9-ть.

Солдаты увели старика.

Да, так на чем мы с вами остановились, Вера Владимировна? Ах, вспомнил, на вашей педагогической деятельности... По-украински преподавали?

— Да, — Вера в продолжении всей сцены издевательства над стариком, как кролик на удава смотрела на холодное, спокойное с почти неподвижными глазами лицо угреватого офицера... — Сколько он убил людей, вот так, холодно посмеиваясь, наслаждаясь их муками...сколько замучил он женщин? О, Боже мой, Боже... что будет со мной?...

— По-немецки пишете, читаете? Говорите, конечно, вполне хорошо?

Вера промолчала и как загипнотизированная смотрела на его шевелящиеся губы, не понимая того, что он говорил. Офицер помолчал, рассматривая Веру. Где-то за стеной один за другим хлопнули два выстрела. Вера вздрогнула и уронила на пол свою сумочку. Офицер быстро вскочил с своего места, поднял сумочку и подал ее Вере. Разгибаясь, он положил свою руку на колено Веры и сильно сжал. Вера похолодела. Он приблизил свое лицо, обдавая опять Веру отвратительным запахом спирта и лука. Проведя рукой от колена вверх по бедру и продолжая пристально, не мигая смотреть Вере в глаза, он сказал:

— А вы, Верочка, хорошенькая...очень даже хорошенькая, — и выпрямившись, забирая руку, добавил, — ну, об этом мы успеем еще поговорить. Вы барышня нервная, вон как вздрогнули, когда выстрелы услышали. Но вот что я хочу вам сказать, если я спрашиваю, ваше дело отвечать! Точно, без лжи и выдумок. Понятно?

— Понятно... — тихо ответила Вера. Теперь ей было нестерпимо жарко, она покрылась испариной и безумно захотелось пить, но попросить воды боялась.

— Я спросил вас, говорите ли вы по-немецки? Можете ли вы читать и писать на этом языке?

— Да, — с хрипом ответила Вера, в горле у нее пересохло.

— Что же...немцы вас обучали до или после постельных упражнений? А как они, в этих делах лучше или хуже нашего брата?

Вера молчала. Ее стало лихорадить, она была близка к обморочному состоянию.

— Я сказал вам, что если я спрашиваю, вы должны отвечать на мои вопросы.

— Что я могу вам отвечать? — срывающимся голосом сказала Вера. — Это же не допрос...грубое издевательство...

Офицер, как и прежде, чуть наклонил голову на бок и, как бы протестуя против несправедливости, поднял руку.

— Что вы, что вы... сейчас я очень вежлив и галантен... вот ведь даже, совсем как кавалер, поднял вашу сумочку. Но, конечно, иногда могу и сорваться. Работа у меня, видите ли, нервная, напряженная... — Он встал, открыл дверь в соседнюю комнату и включил там свет. Это была, очевидно, его спальня, видна была кровать, два кресла, какие-то узлы, чемоданы. Он вернулся, оставив двери открытыми, находу распечатывая пачку папирос. — Вот и курю излишне много. Вы на меня очень успокаивающе подействовали. Ваше хорошенькое личико и такие приятные на ощупь ножки... — Он стоял перед Верой и сверху вниз смотрел на нее, потом взял ее за подбородок и поднял ее лицо. — Вообще, моя дорогая Верочка, теперь всё зависит от тебя... мордочка у тебя премиленькая и здесь, — он легко провел рукой по ее груди, — неплохо накоплено... Как сработаешь... — на столе зазвонил телефон. Офицер подошел к столу и, прежде чем взять трубку, закончил, — как сработаешь, так и заработаешь. Понятно тебе? Слушаю, — бросил он в трубку. — Слушаю, товарищ полковник. Есть! Понимаю, — он взял блокнот и, смешно выворачивая свою левую руку, держа блокнот перпендикулярно на столе, стал записывать. — Будет выполнено, я сейчас же поеду туда, товарищ полковник! — и, положив трубку, крикнул. — Эй, дежурный!

В двери вошел солдат.

— Я в город поеду. Вернусь через полтора, два часа. Скажи чтоб машину дали. А эту, — он указал на Веру, — пока в сарай, но без дураков чтобы! Понятно? Приеду так продолжу разговор с ней, — и не глядя на Веру, он надел фуражку и шинель, вложил в кобуру лежащий на столе револьвер и вышел из комнаты.

— Идем, — приказал солдат. — Пошли в ожидалку, красавица.

В передней комнате он передал ее другому солдату.

— Отведи ее в ожидалку. Только по дороге ни того-этого. Капитан сказал не трогать ее. Сам с ней развлекаться будет, когда вернется.

— Топай, девушка! — сказал конвоир и сам пошел следом за Верой. — По дорожке направо. Видишь, вон в тот сарай?

Вера пошла в указанном направлении к смутно темнеющему силуэту большого строения. Вдруг сзади идущий солдат, схватил ее, прижал к себе и стал шарить руками по ее телу. По груди, по животу, по ногам поползли его сильные грубые руки, причиняя боль. Вера рванулась и закричала: — Пустите...не смейте, я капитану скажу!

Солдат выпустил ее и, задыхаясь, сказал:

— Ну, и черт с тобой... Иди вперед... Капитан у нас свирепый, а то бы я тебя вот на этом самом месте... под орех бы разделал! Полапал, только аппетит раздразнил... Скачи коза скорей, а то пойду на риск...

Вера бегом побежала к сараю. Перед сараем стояли часовые. Солдат догнал Веру и схватил ее за руку.

— Ишь ты... прыткая какая. Эй, принимайте товар! Капитан приказал "вежливое обращение". К себе на ночь заберет!

Охрана открыла дверь и впустила Веру во внутрь сарая. Справа от входа, почти до самой крыши были сложены дрова, а слева сидели и лежали на земле темные человеческие фигуры. Маленькая лампочка слабым накалом чуть освещала помещение. Все молчали. Вера оглянулась и, найдя свободное место, села у стены. Она вся дрожала, даже зубы дробно стучали.

— Что делать?.. что делать? О, Господи... через час, а может вот сию минуту... О, Боже мой... Пресвятая Богородица, научи, спаси и помилуй... — вдруг вспомнила она, как всегда в трудные минуты, говорила ее мать. — Мама моя, мамочка... если бы ты была здесь... — Вера заплакала. Она сжалась в маленький комочек у стенки и плакала. — Одна... и никто помочь не сможет... о, зачем я не уехала с Пчелкой или с Никандром Ивановичем... все уезжали... куда угодно, ведь могла... О, мама моя...

На Веру никто не обращал внимания. Видно каждый был напуган и думал о том, что его ждёт. Рядом с Верой сидел

старик с седой бородкой и в больших роговых очках. Воротник пальто был поднят, лица не было видно, только бородка торчала. Когда Вера начала громче плакать, он подвинулся к ней и обхватил ее за плечи, Вера хотела освободиться от его руки, но старик удержал ее.

— Что случилось, девочка? — ласковым шепотом спросил он. — Хотя, конечно, глупый вопрос. Вы поплачьте немного, а потом давайте поговорим... легче будет. Я доктор Хрусталев, может слышали мое имя, если вы местная?

Кто на Куреневке не знал доктора Федора Ивановича Хрусталева? Он был главным врачом поликлиники, имел широкую практику и пользовался всеобщей любовью и уважением. "Наш доктор Федор Иванович" звали его все. Начал он свою докторскую практику на Куреневке еще задолго до революции и всю жизнь прожил и проработал здесь. Он и родился на Куреневке.

— О, доктор... это вы, а я и не узнала вас сразу... темно здесь, — обрадовалась ему Вера, как родному. — Конечно я знаю вас... даже лечиться к вам ходила. Испанка была у меня весной.

— А, вот и я вас вспомнил... Учительница... подождите... подождите... ага! вспомнил: Пономаренко! Верно?

— Да, доктор, Пономаренко, Вера.

— Вот, вот... вспомнил... Арестовали вас значит. И почему вы не ушли? Очень необдуманно поступили.

— А вы доктор? Ведь тоже не ушли и вот... тоже в сарае.

— Я другое дело. Я местный доктор и все мои пациенты здесь. А вот вы...

— А я местная учительница и все мои ученики здесь... то же самое.

Хрусталев приблизил свое лицо к Вериному и внимательно посмотрел на нее. Потом накрыл ее плечи полой своего пальто, помолчал с минуту и сказал:

— Так теплее будет... рассказывайте, что случилось?

Вера рассказала все, что произошло за этот день. Федор Иванович внимательно слушал, не прерывая и не задавая вопросов. Когда Вера кончила и опять заплакала, он снял руку с ее плеч и стал что-то искать по карманам.

— Доктор... Федор Иванович... Что же мне делать? Ведь вот вернется он и поведут меня... Убьет он меня... Я буду сопротивляться... О... Пресвятая Богородица, научи, спаси и помилуй... — снова, как ее мать, прошептала Вера.

— Вот! — доктор протянул Вере что-то маленькое на своей ладони. — Это малого размера скальпель, он в стерильной трубочке. Выньте его и сделайте себе легкий надрез в паху где-нибудь, чтобы кровью запачкать белье... понимаете? Имитировать менструацию. Огромное большинство мужчин испытывают природно-естественную брезгливость к женщине в это время. Только очень осторожно, скальпель хирургически острый. Потом возьмите носовой платок... или вот еще лучше... Нате вам бинтик, сделайте себе вроде тампона... Ну, это вы и сами знаете. Осторожно действуйте. — Он стал на колени спиной к Вере, прикрывал ее от света и от других арестованных.

Вера выполнила все, что сказал ей доктор.

— Готово?

— Да, доктор... вот ваш ножик, спасибо.

— Авось, этот ублюдок хоть в этом случае похож на человека. Мне он на допросе сказал, что утром нас всех переведут в тюрьму, на положение подследственных... Так что критическое время это только эта ночь.

— А за что вас, доктор, арестовали?

— За то же, что и вас, деточка... работал при немцах... коллаборация с врагами-фашистами... и знаете... фу, противно вспоминать... Спрашивает, так вы, доктор, фашистов лечили? О их здоровьи заботились? Я ему ответил, что для доктора, согласно докторской присяге, не существует разницы между фашистом и коммунистом, если они его пациенты. Встал со своего места, подошел ко мне и дал мне пощечину... Мы, говорит, поможем вам понять эту разницу. Два раза за всю мою долгую жизнь, моя девочка, получил я оплеуху... Первый раз от жандармского офицера, во время студенческой демонстрации в 1905 году, а второй раз вот сегодня от советского жандарма — энкаведиста... вот как! И сказал мне этот, сукин сын, что десять лет мне обеспечены... а мне 69... значит, до самой смерти каторга!

— Который час, доктор?

— Уже после 12-ти... может и не тронут вас сегодня...

Доктор снова обхватил Верины плечи рукой и прижал ее к себе. Он молчал. Арестованные сидели и лежали на своих местах, наверное большинство спали. На дворе послышались шаги, кто-то подошел к сараю и разговаривал с охраной. Вера сжалась и затаила дыхание. Доктор еще крепче прижал Веру к себе.

— За мной... — прошептала Вера. — О, Господи...

Скрипнула дверь сарая и охрана втолкнула вовнутрь двух человек. Двери закрылись.

— Слава Богу... пронесло! — громким шепотом сказал доктор и нагнувшись к Вере, поцеловал ее в лоб. — Постарайтесь поспать немного, девочка.

Вошедшие сели у стены, недалеко от Веры и доктора и стали тихо разговаривать.

— Здорово... подрезали бандитюги.

— А ты думал что? Им бы только свою шкуру спасти...

— Не выйдет это у них... на первом же допросе всех раскрою... всю шайку-лейку на солнышко... мне все равно, терять нечего, а им я веревку на шею сплету! Это будь уверен... Когда Козырко приказал проверочку сделать, то я...

— Тише, ты балда... Чего на весь свет хайло разеваешь!

Разговаривающие перешли на чуть слышный шепот.

Хрусталев задремал, продолжая крепко держать Веру за плечи. Вера тоже забылась, прижавшись к доктору и согревшись под его пальто. Разбудил ее звук подъехавшего автомобиля. Машина близко подошла к сараю и стала. Кто-то быстро и невнятно, начальническим тоном что-то приказывал, а другой голос отвечал:

— Есть, товарищ лейтенант. Приготовим все как приказано.

Вера напряженно прислушивалась к разговору. Доктор тоже проснулся, зашевелились и другие в своих углах, но голоса замолкли и снова стало тихо и в сарае и на дворе.

— Уже почти три часа ночи... Спите, девочка... может и услышала ваши молитвы Царица Небесная... Постарайтесь заснуть. Тяжелый нам день предстоит. — И доктор откинулся к стене и закрыл глаза. Вера хотела сделать тоже, но ей все казалось, откуда-то пахнет спиртом и жареным луком. И этот

запах был противен до тошноты... Потом начала болеть царапина, которую она себе сделала по совету доктора.

Один из двух мужчин, которых привели ночью, встал с своего места и, проходя мимо Веры, наклонился к ней.

— Спите, дамочка? — тихо спросил он... запах преследующий Веру шел от него.

Вера закрыла глаза и не ответила. Тогда он отошел к штабелю дров, помочился и снова вернулся на свое место. Наконец Вера заснула.

На дворе было еще полутемно, когда двери сарая открылись и всем приказали выходить. Маленький франтоватый лейтенант выстроил всех в два ряда и сосчитал арестованных. Всех было 22, в том числе три женщины. Вера по голосу узнала лейтенанта, это он приехал ночью и давал страже приказания. Капитана, что вчера допрашивал ее, не было.

— Сейчас вас всех отправим в тюрьму... там с вами разберутся! Пострелять бы вас всех, фашистская сволочь! Праздник Великого Октября вас всех спас вчера! Двадцатишестилетие!..

— А ведь, правда, я и забыл... Ловко подогнали товарищи к дате свою победу, — шепнул Вере доктор. — Но вы, девочка, можете праздновать! Только зря себя поранили, не болит ранка?

В стоящий на дворе грузовик погрузили всех и в сопровождении четырех солдат поехали в сторону Подола. Кроме доктора Хрусталева в машине было еще двое знакомых. Бухгалтерша из конторы питомника и отец одного из Вериных учеников, как раз тот самый, который несколько дней назад уговаривал ее оставаться: "Если что, так мы все пойдем и докажем, там где это будет нужно..." Перед отправкой он подошел к Вере и сказал тихо:

— Плохо присоветовали вам, Вера Владимировна... кто же знал, что так дело обернется... виноваты...

Несмотря на ранний час, народа на улицах было много. На всех домах висели красные флаги, а издалека, с юга, доносились звуки артиллерийской стрельбы, фронт был совсем близко. Машина с арестованными ехала по Константиновской, потом повернула на Глубочицу. Шёл мелкий холодный дождик, все сидели на полу грузовика, накрывшись кто чем мог.

— В Лукьяновскую везут ... в тюрьму, значит...

— Цыть! Не разговаривать! Привезут, так узнаешь куда, — крикнул конвойный. — На свалку везём вас... падаль!

Грузовик проехал через Лукьяновский базар, мимо трамвайного парка и по Дехтерёвской подъехал к воротам тюрьмы.

Пётр Палий

*

Спор сумасшедших с полоумными,
Спор одержимых с бесноватыми;
Не надо вмешиваться, милый.

Займемся летними полуднями,
Займемся зимними закатами,
Луной над улицей застылой.

Пусть шизофреник параноику
Изложит новую теорийку
О политическом прогрессе —

Пройдем по солнечному дворику,
Пройдем к цветущему шиповнику,
К цветистой бабочке ванессе.

Пускай вороны с мериносами
К шакалам пристают с вопросами
Об историческом процессе —

Гляди на нежные соцветия,
На отдаленные созвездия,
На знаки смерти и бессмертия,
На облачное поднебесье.

*

Лежит потемневшее сено
В пустом вечереющем поле.
Лежит непроросшее семя,
Своей не сыгравшее роли.

Так холодно, блекло и немо!
Так осень белеса и вяла,
И небо — как бледная немочь
Над этой природой усталой.

Три птицы, как жалкая мелочь,
Разбросаны в тусклой печали.
Безлюдно. Листва отшумела,
Как будто и ветки устали.

Ты скажешь: наскучивший символ,
Давно надоевшая притча. —
(Лишь мерин, облезлый и сивый,
Заржал, свою молодость клича).

И ночь, от усталости, что ли,
Подходит неспешно, несмело.
Но всё это, в общем, без боли,
И всё — мое частное дело.

Игорь Чиннов

ГАМЛЕТ ДОСТОЕВСКОГО

Гамлет, Принц Датский. Он вышел из распространенной и строго очерченной по кругу своих проблем и приемов "трагедии кровавой мести" XVI века и вот уже четыре столетия бродит по миру, пытаясь понять самого себя, проникнуть в бесконечные тайны вселенной и вместе с тем найти свое человеческое место среди людей. А мир по-прежнему "безвестен" и неясен, все так же "тонет в фарисействе". Тяжела Гамлетам их "чаша", но "тысячи биноклей" смотрят на них в "сумраке ночи", и они идут своей трудной дорогой...

Гамлет Шекспира и Гамлет Гете, Гамлет Белинского и Тургенева, Блока и Гауптмана, Гамлет Пастернака. У каждого большого художника есть свой Гамлет.

Каким же был Гамлет Достоевского?

В семнадцать лет, как и всякий мыслящий юноша, Достоевский нашел в нем свою душу, свои страдания, свой конфликт с миром: "Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, в которых звучит стенанье оцепенелого мира, тогда ни грустный ропот, ни укор не сжимают груди моей... Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб не растерзать себя"[1]. "Грустные идеи" о том, что "мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира", тогда почти постоянно владели молодым Достоевским, но Гамлет обострял их, снимал созерцательную, романтическую унылость, побуждал к какому-то еще не осознанному протесту. И уж конечно в горячечном и голодном бреду

1. Ф.М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 46.

одинокого и униженного воспитанника Инженерного училища возникали гамлетовские сомнения: самоубийство? ("одного взрыва воли достаточно", чтобы "слиться с вечностью") и безумие? "У меня есть прожект: Сделаться сумасшедшим. — Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным"[2].

1838-1841 годы Достоевский провел исключительно в сфере лихорадочных "литературных мечтаний": Гофман, Бальзак, Гете, В. Гюго, Байрон, Шатобриан, Пушкин, но над всеми возвышались Шиллер и Шекспир, как символы "прекрасного" и "высокого" в человеке. И вместе с тем реальное страдание "одинокого сердца" в годы, когда юность жадно требует общения, давали тягостное ощущение зря потраченных душевных сил.

С начала 1842 года быт все более и более надвигается на Достоевского — мечты отступают. Брат Михаил женился и погрузился в заботы о семье, брат Андрей оказался на попечении Федора Михайловича в Петербурге и сильно раздражал его "пустым" характером. Особенно же мучит безденежье, долги, униженные просьбы к опекуну — и это все после "верных" идей "разбогатеть", организовав переводы. А тут еще опекун Карепин, тупой и самодовольный человек, поучает в письмах аккуратности, советует довольствоваться малым и не увлекаться "шекспировскими фантазиями", которые он назвал "мыльными пузырями". Опекуна своего Достоевский презирал и ненавидел, но при всем негодовании и горечи оскорбленного самолюбия, с издевательствами отвечая Карепину, он не мог не задуматься над реальной правдой этого упрека.

Жизнь наступает на человека отнюдь не в шекспировских категориях — это Достоевский испытал на себе, в чертежном департаменте, в холодном углу, среди "бедных людей"... Доведенный до отчаяния бедностью, унижением и страхом за любовь свою Макар Девушкин, только что с восторгом принявший "Станционного смотрителя" и пристрастно отвергший "Шинель", упрекая литературу за ее "небылицы в лицах" ("праздным людям читать") не случайно связывает это с Шекспиром: "И что там, если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир

2. Ф.М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 47.

есть, — так и Шекспир вздор, все это сущий вздор, и все для одного пасквиля сделано". Макар — не Достоевский, но и не Карепин, и уж, конечно, не в упрек своему герою автор "Бедных людей" так "снижает" его литературные вкусы: с точки зрения Макара, его сегодняшней, живой, реальной трагедии, Шекспир, конечно, "вздор" и "небылица". Макар как бы предлагает читателю сопоставить свое человеческое горе со всеми известными шекспировскими страданиями.

Опекун Карепин не зря опасался за своего слишком пылкого родственника: "шекспировские мыльные пузыри", то есть мечты о "прекрасном" и "высоком", привели Достоевского к петрашевцам. Он стоял на эшафоте, ожидая смертной казни вместе со своими товарищами, с полным сознанием того, что "дело", за которое они погибнут, есть высшая справедливость, продиктованная "любовью к человечеству", потому что Тот, кто "создал вселенную", умеет лишь "размножать число несчастных"[3].

Произведения Шекспира были одной из последних книг, которые Достоевский прочитал перед каторгой. В письме к брату из Петропавловской крепости он "особенно" благодарил за присылку Шекспира. Кончились недолгие "белые ночи" петербургских мечтаний, начались черные, сибирские, за которые можно было много сотен раз обдумать прочитанное, вспоминать, еще раз анализировать и сверять с действительностью...

Повести "Село Степанчиково..." и "Дядюшкин сон" писались почти одновременно и были из тех произведений, которые составлялись Достоевским без больших раздумий, на основе двух-трех мимолетно схваченных впечатлений. Художественные детали таких произведений чаще всего бывают грубовато подчеркнуты.

Девять раз в сравнительно небольшом "Дядюшкином сне" герои говорят о Шекспире, Марья Александровна, дама весьма земная, но чрезвычайно склонная к красивым "возвышенным", по ее вкусу, фразам, неустанно ругает "проклятого" "дурака" Шекспира, который "отжил" и с его "мечтами" и "высокими"

---

3. Цит. по статье: А.С. Долинин. Достоевский среди петрашевцев. "Звенья", т. 6, М.-Л. 1936, стр. 5.

чувствами "не разобрал бы в нашей жизни ни строчки". Может быть это отзвуки карепинских "мыльных пузырей", которых все еще не может забыть Достоевский? Или это признаки того заземленного прагматизма, которые, выйдя с каторги, Достоевский стал особенно часто замечать в людях и в своем большом "Романе" (прообраз "Униженных и оскорбленных") хотел создать целый "новый характер" (будущий князь Валковский)? Возможно и то и другое. Но несомненно также и то, что резкие фразы Москалевой несут самостоятельную функцию, как бы дразня читателя и выводя его из привычной сферы восприятия мира.

Ненависть Марьи Александровны к Шекспиру вполне сюжетно обоснована и справедлива с точки зрения ее родительского долга: Шекспир — губитель молодых сердец. В отношении Мозглякова это, конечно, звучит комически, но для учителя Васи так оно и оказалось в действительности. Начитавшись Шекспира, Вася "все мечтал, всегда мечтал, а не жил, гордился, толпу презирал", а перед смертью с горечью признал, что было-то одно "самолюбие" "благородное", а на деле-то он — просто "дрянь-человек", способный мучить и ненавидеть даже великодушное и любящее существо. Получилось, что Шекспир действительно погубил этого несчастного провинциального мечтателя, как когда-то слишком бурные мечты, "шекспировские фантазии", привели Достоевского в омский острог.

Фома Опискин, персонаж, как известно, в значительной степени пародийный, говорит в момент наивысшего напряжения повести: "Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он расскажет вам в своем "Гамлете" о состоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен". Кончается эта исповедь, несмотря на благополучный исход дела, воплем Фомы: "Хочу любить, любить человека, а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека!"

Само неожиданное сопоставление Фомы и Гамлета есть несомненно художественный знак, останавливающий читателя в его уже сложившемся к этому моменту повести восприятии Фомы как глупого и мелкого "тирана". А может он действительно страдал? Может и вправду хочет любить человека и не может его найти? Так, по крайней мере, стали думать все персонажи

"Села Степанчикова..." (даже Настенька). Читатель же, закончив повесть и узнав непосредственно от автора, со стороны, некоторые детали дальнейшего поведения Фомы, вправе смеяться не столько над Фомой, сколько над всеми окружающими, которые-таки произвели его в Гамлеты, поклонились его "общечеловеческим страданиям", "драгоценный памятник из белого мрамора" поставили на его могиле! А ведь он просто ловко их всех надул — сыграл Гамлета. И это совсем не трудно: презирай человечество, но делай вид, что страдаешь.

И если тень Гоголя сознательно была поставлена Достоевским рядом с Фомой Опискиным — это неоднократно подчеркивалось исследователями (Ю.Н. Тынянов, Л.П. Гроссман), — то о второй тени, тени Гамлета, еще не было сказано. Но она несомненно присутствует, хотя и обозначена осторожно. Задевает ли она шекспировского героя? Или только дискредитирует самозванных русских "гамлетиков"? И то и другое. Не случайно Фома, "ссылаясь на Шекспира", представляет "будущность" "как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил". К Шекспиру этот неоднократно фигурировавший в русской поэзии образ из повести Шатобриана[4] не имеет никакого отношения. Фома-Гамлет утрирует общее настроение шекспировских героев, приписывая им пресловутого крокодила. Сам факт такой утрировки в творческом сознании Достоевского настораживает. Пусть все это говорит необразованный Фома, но слово сказано, понятия сопоставлены, и над творчеством Шекспира, "бога" Достоевского 1840-х годов, появляется тень нелепого крокодила.

4. Образ крокодила, лежащего на дне светлого артезианского колодца, символизирующий постоянную тайную грусть человеческой души, взят из повести Шатобриана "Атала". Возможно, Достоевский читал эту повесть в 1840-е годы. Кроме того, образ шатобриановского крокодила был использован Батюшковым в стихотворении "Счастливец" (1810 г.), затем пародирован Воейковым в его "Доме сумасшедших" (1814 г.), Белинский обратил внимание читателей на батюшковского крокодила уже в 1843 году в третьей статье о Пушкине. Любопытно, что Лермонтов в 1830-е годы дважды использует этот образ: в повести "Вадим" и иронически в повести "Княгиня Лиговская". Однако повести эти опубликованы позже "Села Степанчикова", и Достоевский знать их не мог. По-видимому, обозначение "мировой скорби" шатобриановским крокодилом было достаточно распространенной насмешкой.

Не случайно, может быть, в письме к брату, где Достоевский пишет, что сидит за "работой в "Русский вестник" (то есть за "Селом Степанчиковым..."), читаем следующее: "У Шекспира, говорят, не было помарок в рукописах. Оттого-то у него так много чудовищностей и безвкусия, а работал бы — так было бы лучше[5]".

Очевидно, для Достоевского конца 1850-х годов Шекспир на какое-то время перестал быть "богом", и явились даже злые насмешки над гамлетовскими "общечеловеческими" страданиями, над "шекспировскими фантазиями", за которые слишком жестоко пострадал сам Достоевский и вместе с тем убедился, что реальная человеческая драма и трагичнее, и сложнее всех шекспировских драм. В этом смысле слова Марьи Александровны, что "Шекспир не разобрал бы в нашей жизни ни строчки", были истиной для творческого сознания Достоевского тех лет. Может быть, традиционные границы и условности искусства даже в шекспировском масштабе перестали удовлетворять Достоевского?

Еще в начале 1860-х годов гамлетовские "высокие идеи" продолжают быть для Достоевского символом идеального мечтательства, которое неминуемо приводит человека к гибели, "к синильной кислоте". В своей циничной и откровенной исповеди князь Валковский, "новый русский характер" (по позднейшему определению Достоевского — несомненно "хищный тип"), умный и образованный, противопоставляет себя именно Гамлету: "Вы скажете: это Гамлет, это грозное отчаяние, одним словом, что-нибудь такое величавое, что нам и не приснится никогда. Но вы поэт, а я простой человек и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения". Валковский (в отличие от других, будущих "хищных типов" Достоевского) однолинеен в своей отвратительности. Это — "строгий" анти-Гамлет. В этом "практицизме" и отсутствии нравственных сомнений видит пока Достоевский корень его поразительной живучести. Он действительно доживает "до восьмидесяти лет", в то время как гамлетовский мечтатель Ваня умирает в больнице, всеми оставленный.

---

5. Ф.М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 236.

Ваня умирает с полным сознанием своего бессилия и с горькой иронией по отношению к своему "литераторству" (а ведь его хвалил критик Б.! — тоже, кстати сказать, умерший в чахотке). Так умирали мечты самого Достоевского, его гамлетовское сознание, что он "рожден" "исправить" "несчастный жребий" мира.

Несмотря на петербургский колорит "Униженные и оскорбленные" по своим идеям и характерам связаны с сибирскими размышлениями Достоевского. Еще в большей степени сказались они в "Записках из Мертвого дома". Лихорадочно написав за два года около ста печатных листов, Достоевский как бы завершил анализ всего пережитого им от "Бедных людей" до каторги. Только тогда новая, современная Россия начала 1860-х годов по-настоящему овладела писателем. Мысль его освободилась для анализа этих "новых" фактов и впечатлений.

Достоевский не сразу мог определить свое отношение к происходящим событиям. "Слишком у нас перепутались в обществе понятия. Недоумение наступило какое-то",[6] — пишет он в письме к Н.Н. Страхову вскоре после отъезда из России в июне 1862 года. Через несколько дней он встретился с Герценом, который в это время тоже переживал свои тревоги и сомнения, свои "концы" и "начала". Европу Достоевский воспринял с какой-то досадой, а по возвращении в Россию начинает проявляться неприязнь Достоевского и к "ретроградам" и к "прогрессистам", и тем и другим противопоставляет он народ.

Даже тургеневского Базарова, в противовес чуть ли не всей петербургской журналистике, Достоевский воспринимает как своего рода Гамлета, "беспокойного и тоскующего", считая это "признаком" "великого сердца". И вместе с тем, Достоевский понимал бессилие этой русской "тоски" и беспокойства.

Может быть, под влиянием встреч с Герценом и Тургеневым возник у Достоевского замысел "рассказа" о типе "заграничного русского". Часть этого замысла, осложненная личными переживаниями, ушла в "Игрока", а русский "многоразвитый", но во

6. Ф.М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 309.

всем "недоконченный" тип будет занимать Достоевского "тайной" своего "сердца" всю жизнь.

В повести Тургенева "Довольно" умирающий художник произносит гамлетовское "The rest is silence!", а герой "Призраков" среди своих "высоких" и "прекрасных" мечтаний видит ничтожность человеческой жизни и испытывает к своим "собратиям" "отвращение" вместе с отвращением "к самому себе".

Эти два "маленьких" Гамлета, явившиеся вскоре после "большого" и "сильного" Дон-Кихота Базарова, свидетельствовали о внутреннем кризисе Тургенева в 1862-1863 годах. Достоевский понимал это, но объяснял по-своему, сочувствовать не мог. Презрения, хотя бы мимолетного, к "реальным" человеческим страданиям он не мог простить никому — слишком много вынес сам. Может быть, тогда и пришла Достоевскому мысль задуматься над этой гамлетовской тоской в ином плане. Ведь и у Шекспира Гамлет не только страдает, но и презирает, пусть порок, но презирает. Гамлет многолик. В какой-то момент он мог повернуть к воспаленному воображению Достоевского свое злое лицо...

Достоевский слишком хорошо понимал эти злые гримасы, когда кажется, что нет больше добра и не во что верить, когда хочется сказать миру самые отчаянные, жестокие, пусть даже несправедливые слова. В этом смысле прав был Михайловский, называя Достоевского "жестоким талантом". В такие "жестокие" ночи измученный Достоевский писал свои "Записки из подполья", где герой — "один из представителей еще доживающего поколения", то есть, несомненно, человек 1840-х годов, даже "романтик" 1840-х годов, у которого когда-то были порывы мечтаний "высоких" и "прекрасных", а кончилось все "вонючим подпольем". Достоевский заостряет в этом герое трагедию целого поколения тех русских мыслящих людей, которые, по определению автора, вышли "из реторты", то есть развивали себя по искусственным правилам, несообразным с естественным течением жизни. Достоевский считал, что при таком развитии человек неминуемо погружается в одного себя, и "в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных

желаний, вошедших внутрь во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний" он и доходит до "подполья".

Несомненно, что-то гамлетовское слышится в этом отчаянном монологе-анализе, хотя искажение здесь столь велико, что традиционные черты едва улавливаются. Характерно, что в этой повести враги героя, то есть "нормальные" и в то же время еще более ничтожные люди (приятели), рассуждают о "величии Шекспира" вперемежку с разговорами о "клубничке".

Подполье — крайняя и искаженная форма русских Гамлетов-мечтателей, которые в силу своей "многосторонности" и "широкости" даже при самом последнем падении не теряют своего "идеала", что не мешает им в то же время быть и "отъявленными подлецами" и просто "деловыми шельмами".

Расчет Достоевского с гамлетизмом в "Записках из подполья" был суровым, но это был далеко не окончательный расчет.

Почти одновременно с "Записками" Достоевский печатает в "Эпохе" свои примечания к статье Н.Н. Страхова "Воспоминания об А.А. Григорьеве", где характеризует своего умершего, глубоко почитаемого сотрудника как "русского Гамлета". Утверждая, что в "Исторических письмах" А. Григорьева "типично, хотя всё еще не вполне обрисовался один из русских Гамлетов нашего времени (настоящих Гамлетов)". Достоевский пишет далее:

"Григорьев был бесспорный и страстный поэт, но он был и капризен, и порывист как страстный поэт. Я не о том собственно говорю, что он увлекался... Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, менее других и рефлектировали. Человек он был непосредственный и во многом даже себе-неведомо-почвенный, кряжевой. Может изо всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура (не говорю как идеал, это разумеется). От этого и происходило, что малейший порыв свой в общем деле он считал до того кровным и необходимым для всего дела, до того неразрывным с делом, что малейшее неудовлетворение этому

порыву казалось ему иногда падением всего дела. И так как раздваивался жизненно он менее других и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий "герой нашего времени", одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже в прекрасных стихах, с самообожанием и с некоторым гастрономическим наслаждением, — то и заболевал тоской своей весь, целиком, всем человеком".

Далее, говоря о некоторых своих конфликтах с А. Григорьевым, Достоевский добавляет, что Григорьев был "очень строг" и "ничего не понимал в практической стороне дела", неумело "и голословно" приводил свои убеждения, в нем не было "такта", этой "гибкости", он, "по своей гамлетовской мнительности, может быть, думал, что от него добиваются отступничества" там, где требовались всего лишь "постепенность" и "такт".

Итак, в восприятии Достоевского, "русский Гамлет" прежде всего "страстен", "капризен", "порывист" и именно порыв свой в любом деле считает чем-то высшим и неоспоримым. Он живет в мире созданных им представлений весь, целиком, и так же "весь" впадает иногда в тоску. Он был бы скорее Дон-Кихотом по строгости и непреклонности своих убеждений, но над всем стоит "гамлетовская мнительность", которая, в конечном счете, и руководит его поступками.

Вместе с этим Достоевский определяет два по-своему противоположных друг другу типа русских Гамлетов: одни — "менее раздваиваются" и по натуре своей все время стремятся к цельности: дело — так делу весь, тоска — так весь в тоску (А. Григорьев); другие — в раздвоении и очень привычно и "удобно" одной половиной тоскуют и страдают, а другой анализируют и описывают "эту тоску свою". (Возможно, что Достоевский имеет здесь в виду Лермонтова.)

Такое широкое понимание "русского Гамлета" показывает, что для Достоевского с этим традиционным литературным типом связано представление о так называемом ищущем герое. Это — наиболее субъективный герой, хотя автор совсем не обязательно разделяет его мировоззрение. Напротив, ему могут быть прямо противопоставлены другие идеалы, а герой — все-

таки он. В таком "ищущем герое" автору важен не окончательный результат (и вместе с ним суд), а *процесс,* движение. Здесь ошибки и заблуждения героя приобретают куда большее значение, чем осуждающие или оправдательные авторские акценты.

В "Преступлении и наказании" — "ищущий тип" — Раскольников. Его роднит с Гамлетом начальная ситуация: ходил "как помешанный", воображал себя в центре мировых проблем, с ощущением "подлости и гадости дел людских", своего одиночества и своей "тайной" идеи, которая полностью завладела всем его существом. Да и идея у него в чем-то сходна с Гамлетом — убийство во имя справедливости. Но Гамлет Шекспира совершает свое дело, умирая, под занавес — трагедия в сознании именно *до.* Раскольников, совершив убийство, перестает быть Гамлетом. По некоторым черновикам "Преступления и наказания"[7], а также из письма Достоевского к Каткову (сентябрь 1865 года) видно, что первоначальные мотивы убийства у Раскольникова значительно проще, чем это оказалось в окончательном варианте. Он убивает, чтобы спасти мать, сестру и себя от бедности и позора, надеясь, что последующей добродетельной жизнью искупит свое преступление. В одной из первых, еще совсем коротких, записей к роману звучит мотив внутреннего самооправдания Раскольникова после убийства и начавшихся страданий: "Да почему же кончилась жизнь моя. Ропот: Ведь Бога нет и проч." Вопрос о неверии поднимался и в беседах Васи (будущего Раскольникова) с Разумихиным, о Боге много говорит Мармеладов в своей исповеди, но все-таки атеистический мотив преступления тогда еще не увлек Достоевского. Размышляя над созданной им ситуацией убийства, он искал другого.

В первых записях к роману можно видеть какую-то связь с ситуациями "Записок из подполья". Следующим этапом было появление в Раскольникове "гордости сатанинской", "бесовской", "бесконечной" — это тоже как-то сближает героя с "подпольем";

---

7. Здесь и далее цитируются рукописные редакции романа "Преступление и наказание" по Полному собранию сочинений и писем в 30-ти томах. Изд. "Наука", т. 7 М.-Л. 1973 — 1975.

насмешки над социалистами с их "хрустальным дворцом" — "всеобщим счастием" опять-таки из "Записок" перешли в роман. Однако, убив старуху, Раскольников разбил свое подполье, вышел из него в мир действительной жизни... и потерпел крах! Достоевский на каком-то этапе работы над романом возвысил Раскольникова, сделал его даже страдающим и страстно жаждущим счастья обездоленному человечеству, которое он брался спасать, построив теорию "математически доказанную" и т.д. Впрочем, он вышел из подполья всего на несколько мгновений, совершил свое "дело", надеясь начать новую, "реальную" жизнь. "Наказание", нравственные страдания Раскольникова *после* убийства — это возвращение в подполье, в раздвоение, в гамлетизм. Здесь и уверенность, и сомнение в справедливости совершенного, и мучительный постоянный вопрос себе самому: "человек" он или "дрожащая тварь", и мысли о самоубийстве. Однако самоубийство в романе совершает Свидригайлов, и антипод, и своеобразный "двойник" Раскольникова, тоже человек из подполья. В одном из зачеркнутых вариантов он прямо говорит о себе: "Ведь я человек мрачный... Вреда не делаю, а сижу в углу..." В окончательном тексте Свидригайлов, подлец и убийца в прошлом, совершает великодушные поступки. "Какое странное, почти невероятное раздвоение", — размышляет над ним сам Достоевский и замечает далее: "И однако же так. Он к этому был способен". Раздвоение спасло Свидригайлова от новых преступлений, он поторопился умереть в порыве "добра". Над "раздваивающимся", "хищным" типом Достоевский будет еще очень много думать в своих последующих романах.

В каком-то абстрактно-психологическом плане Свидригайлов может быть лучше всех понимает суть поступка Раскольникова (его "выход" из подполья): "Вы так сказать не захотели раздробиться на Анализ и захотели Синтезу". Именно вырваться из "реторты", из вечного и бесплодного копания в собственной душе, из гамлетовского анализа, из русского подполья стремится герой "Преступления и наказания". Он не хочет "ждать", хочет своих "человеческих прав сейчас же ..." Но выход его из подполья даже с учетом того, что он "возлюбил" людей, "коли такой ужас решился взять на себя", все равно остается уродли-

вым кошмаром, страшным *сном* с пробуждением в том же подполье.

Если вспомнить характеристику русских Гамлетов, данную Достоевским в статье об А. Григорьеве, то раскольниковский тип — из тех, кто "менее раздваивался" и весь уходил в свой "порыв", шел напролом, без всякого "такта", а "тоской заболевал целиком", "всем человеком".

Начиная работать над новым романом, осенью 1867 года, Достоевский долгое время все еще был во власти характера сильного, страстного, угрюмого и несообщительного", с гордостью "беспредельной" и крайним эгоизмом, с бешеной жаждой "саморазрешения всего". И вместе с тем герой уже мыслился "идиотом", то есть каким-то особенным и должен был кончить "божественно", "отступиться"[8].

На каком-то этапе "идиот" приобретает даже традиционные гамлетовские черты: нужно "натуру" "огромную и тоскующую (склонную к любви и к мщению)...", "тоскующий, себя презирающий и до бесконечности гордый характер"... "Идиот представлен в ожидании и в тревоге, как будто есть какое-то дело ... совершает разные поступки в волнении, а потом вдруг полная апатия для чего? Зачем? Затворяется от всех и шатается даром... Самоубийство".

Из Гамлетов Достоевский ищет на сей раз наиболее "раздваивающуюся" натуру: "он до такой степени болезненно горд, что не может не считать себя Богом и до того вместе с тем себя не уважает (до того ясно себя анализирует), что не может бесконечно и до неправды — усиленно не презирать себя".

Все более и более раздваивая своего героя, Достоевский доходит наконец до "последней крайности" — Христос и Дьявол. Именно в "искушении Христа Дьяволом" видит он "начало глубокого христианства". У него и "христианин" может "в то же время не верить" (позже он такого христианина назовет "Гамлет-христианин"), и "бесы веруют и трепещут".

Прежде чем сделать своего "идиота" человеком, достигшим по выражению Салтыкова-Щедрина, "полного нравственного и

---

8. Здесь и далее цитируются рукописные редакции романа "Идиот". Полн. собр. сочинений и писем в 30-ти томах. Изд. "Наука", т. 9.

духовного равновесия", Достоевский долго варьировал в нем гамлетовскую раздвоенность: "Внутри него страшная борьба: мстить или не мстить. Его порывы истины, благородны и вот он делает злое ... бродит как в бреду". Далее предполагались всякие невероятные злодейства и вдруг неожиданный поворот к антитезе "умереть за всех на кресте".

"Раздвоенный" "идиот" приобретает единство сначала в "тихости", "забитости", "приниженности" и "смирении", а затем во всепрощении и христианской любви. Гамлетовский мотив в черновиках на какой-то момент перешел к Ипполиту: "умирать или не умирать", — а затем ушел вовсе. "Страшные факты" действительности были уже давно набраны Достоевским и он пустил к ним теперь своего "невинного", "простого и ясного" героя, обреченность которого с самого начала была ясна автору.

В окончательном тексте романа "Князь-Христос" Мышкин, несмотря на полное внутреннее единство своей натуры, терпит крах и может быть прежде всего потому, что мир *раздвоился* перед ним, причем не на обычные категории добра и зла (тогда бы он знал как поступить!), а раздвоилась каждая из этих категорий: Настасья Филипповна нуждалась в его любви для утоления своих жгучих страданий, Аглае она была необходима для высшего нравственного подвига. Они оказались соперницами. Любовь переплелась со злом. Цельная натура погибла в соприкосновении с вечно двоящимся миром.

После "Идиота" Достоевский хотел написать "Житие великого грешника". Это был для него "тип" "бессознательно беспокойный собственною типическою своею силою, совершенно непосредственною и не знающую на чем основаться... Он уставляется наконец во Христе, но вся жизнь — буря и беспорядок"[9]. "Колебание, ненасытность замысла — только готовит себя... инстинктивное сознание превосходства власти и силы. Искание точки твердой опоры. Во всяком случае, человек необыкновенный. (Увлекается чем-нибудь ужасно, *Гамлетом,* например)". Упоминание о Гамлете здесь, конечно, не случайно — "великий грешник" тесно был связан в сознании Достоевского

9. Здесь и в дальнейшем цитируются рукописные редакции к роману "Бесы". Полн. собр. сочинений и писем в 30-ти т. Изд. "Наука", т. 12.

именно с русским Гамлетом, и с его мятущимся духом, поиском, отчаянием, страстной жаждой веры и подвига.

Некоторые мотивы "Жития..." перешли в роман "Бесы".

16 августа 1870 года Достоевский сформулировал для себя главную суть Ставрогина: "мрачный, страстный, демонический и беспорядочный характер, безо всякой меры, с высшим вопросом дошедшим до быть или не быть? Прожить или истребить себя? Остаться на прежнем по совести и суду его невозможно, но он делает все прежнее..."

В этой по-гамлетовски выраженной идее Достоевский, по-видимому, нашел то, что так долго искал для своего героя. С этого момента характер героя в общем плане больше не варьируется, разрабатываются детали сюжета и другие действующие лица будущих "Бесов". Вскоре Достоевский смог написать Каткову, что после капитальной переделки плана романа наконец-то у него "все стройно и установилось."[10]

В окончательном тексте "Бесов" гамлетовская сущность характера Ставрогина получила сложную и, на первый взгляд, далеко уходящую от архитипа интерпретацию. И это прежде всего потому, что роман был связан с определенным кругом политических проблем и личностей. Достоевскому пришлось находить точки пересечения Ставрогина с теми персонажами, поступки и идеи которых в значительной степени определялись их прототипами (например, запись в черновике: "У Нечаева все ясно до комичности и до омерзения. У Князя — все вопросы". Идея раздвоения Ставрогина приобрела в романе особое звучание после того, когда Достоевский поставил рядом с ним двух его противоположных "двойников": "горячего" Шатова и "холодного" Кириллова. Убедив одного в необходимости "остаться со Христом", даже если бы "математически доказали", "что истина вне Христа", а другого в необходимости преодолеть Бога, обрести полную свободу мысли и действий, стать "новым", "счастливым", "гордым" "человекобогом" на земле, Ставрогин теряет свою силу, все в мире становится ему безразлично; добро и зло, любовь и отвращение сливаются равно в какую-то

10. Ф.М. Достоевский. Письма, т. 2, стр. 286.

болезненную усталость от жизни, и он наконец освобождается от нее одиноко и прозаически.

Гамлетовский период прошел Ставрогин, в основном, в черновиках к роману. В окончательном тексте мы застаем его уже потерявшим свой гамлетизм, то есть уже не сомневающимся и даже не раздваивающимся, а равнодушным. Не случайно вспоминая о прошлом Николая Всеволодовича, Варвара Петровна вдруг утверждает, что сын ее в своих бурных порывах не столько был "принцем Гарри", сколько "походил еще более на Гамлета" ... "И если бы всегда подле Nicolas находился тихий, великий в смирении своем Горацио, то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и "внезапного демона иронии", который всю жизнь терзал его... Но у него никогда не было ни Горацио, ни Офелии..." В устах Варвары Петровны, хоть и влюбленной в своего сына, но женщины трезвой и рассудительной, такая характеристика звучит неожиданно и без всяких к тому реальных оснований. Юность Ставрогина, как она описана в романе, не таит в себе ничего гамлетовского. Даже "любовь" к хромоножке, которую Варвара Петровна характеризует как "высокое сострадание" и "благородную дрожь всего организма" на самом деле кончилась "браком на пари" за вино "после пьяного обеда". И тем не менее тень Гамлета поставлена рядом со Ставрогиным вовсе не в силу материнской ошибки. Ставрогин *был* Гамлетом, но был им тайно в душе своей, в высших вопросах смысла жизни, был и *перестал быть*. В этом и заключается его трагедия. Отдав Кириллову и Шатову свои идеи, сомнения и страдания, Ставрогин оказался абсолютно пуст в его человеческом потенциале, и ему ничего не осталось как "истребить себя" без всякой идеи. Таким образом, "подполье" Ставрогина — это не страдания "русского Гамлета", а трагедия человека, *потерявшего* свой гамлетизм.

Закончив "Бесы" и вернувшись в Россию после четырехлетних странствий по Европе, Достоевский принял на себя редакторство "Гражданина". По-разному объясняли исследователи этот шаг. Бесспорно одно: Достоевский находился в состоянии тяжелого творческого кризиса, идущего от кризиса общего, душевного, когда нет сил верить ни во что... Может Достоевский тоже... потерял свой гамлетизм?

Начиная работу над новым романом весной 1874 года, Достоевский в самых первых набросках, когда еще не было найдено ни сюжета, ни героя, вспомнил о Гамлете. В веренице прошедших в воображении писателя литературных типов (Дон-Кихот, Жиль Блаз, Фауст, герои Шиллера и пр.) Гамлет задержал его внимание тоже на короткое, казалось бы, мгновение. Но Достоевский успел дать совершенно особую, неожиданную, ему одному вполне понятную интерпретацию шекспировского героя: "Гамлет-христианин". Для Достоевского в этих двух словах был заключен громадный смысл: никто так широко не понимал характер Гамлета. Все мечтатели, все благородно тоскующие по идеалам своим, все упивающиеся собственными страданиями и доходящие в этом до сладострастия, до подполья — Гамлеты. Все сомневающиеся в Боге, в разделении добра и зла, ушедшие в собственную "высшую идею", страдающие за людей и вместе с тем презирающие их — Гамлеты. Все раздваивающиеся, сосредоточенные на "вечном" вопросе о смысле и нужности жизни и все до капризной мнительности убежденные в исключительном своем положении в мире, рожденные "соединить" "цепь времен" — Гамлеты. Достоевский вместе со своими героями искал именно сомнений, искушений, ибо без этого не мыслил "глубокого христианства".

В "Подростке" таким христианином является, конечно, Версилов. По очень удачному выражению А.С. Долинина, Версилов вышел из "пра-Ставрогина" — он "страстен", "широк" и в своем зле и в своем раскаянии[11].

Это — "чисто русский и универсальный тип". Потому он и страдает, и мучится, и грешит, и в "схимники собирается", что слишком развит в нем "дух анализа и совестливости". Это дух и заставляет его сомневаться во Христе. Как же Христос мог "любить людей таких, как они есть"? Ведь мир так "подло" устроен, что жить "стыдно".

Но мотив "Гамлета-христианина" оказался в "Подростке" слабо реализованным: Версилов — Гамлет не столько в своей

11. Черновики к "Подростку" цитируются по публикации А.С. Долинина в книге: "Литературное наследство", т. 77, М., Изд. "Наука", 1966.

вере, в своей "великой идее", сколько в его "раздвоении", которое становится сущностью всего его бытия. Настоящий же великий Гамлет-христианин или Гамлет-атеист дан в последнем романе Достоевского "Братья Карамазовы".

Мы почти не располагаем черновиками ранней стадии работы Достоевского над "Братьями Карамазовыми". Можно только предположить, что роман создавался по обычному для Достоевского плану: сначала очень общее определение фабулы, а затем поиски героя, причем образы предыдущего романа долго преследуют писателя, как будто он что-то упустил, недосказал...

Многие мотивы сомневающегося христианина из черновиков к "Подростку" перешли к Ивану Карамазову, хотя он с большим правом может быть назван сомневающимся атеистом. Но он именно сомневающийся, это звучит и в окончательном тексте, и подчеркнуто в сохранившихся черновиках неоднократно: "В вас этот вопрос не решен и в том ваше горе", "в вас не кончен процесс"[12]. Более всего Ивана смущала мысль". А если все-таки "Бога нет", "какова же тогда подлость человеческая", обещающая страдающим людям райское блаженство за гробом? Чтобы покончить с сомнениями, Иван хочет "совершенно уничтожить идею Бога", как Кириллов в "Бесах", утвердить свою волю, взять в свои руки справедливость и счастие людей.

Он хочет отделаться от своего гамлетизма. "Бунт" Ивана это не только бунт против Бога, но и бунт против собственных сомнений, против собственной двойственности, когда, с одной стороны, видишь бессилие веры и даже считаешь ее безнравственной при виде страдающего мира, а с другой — как же жить "без веры", ведь "благородства", как считает Иван, "хватит до 30-ти лет", а там "по-карамазовски" или "истребить себя"?

Но Иван не останавливается на этом вопросе, как Версилов, и не истребляет себя, как Ставрогин, он все-таки совершает свое — отвергает Бога окончательно — в этом отношении Иван похож на Раскольникова, он преодолел свой гамлетизм и ... потерпел нравственной крах.

---

12. Рукописные редакции романа "Братья Карамазовы". Полн. собр. сочинений и писем в 30-ти т., т. 17. Изд. "Наука", М.-Л., 1976.

Развитие сюжета "Братьев Карамазовых" это в значительной степени *наказание* Ивана, или, вернее, самонаказание, потому что, в отличие от Раскольникова, у него нет внешнего страха. Иван и казнит себя сам сначала признанием, что он "прямо в Федоры Павловичи" "вступает", а затем сознанием отцеубийства. Вершина наказания — символическая галлюцинация черта, в которую герой поверил как в реальность. Этот мотив, явление "собственного беса", уже был использован Достоевским для Ставрогина в журнальном тексте романа, но там бес "ужасно злился" и только хотел, чтобы герой в него "уверовал в самом деле". Иван же запустил в черта стаканом, а черт торжествовал полную победу. Такова трагедия Ивана, мечтателя и пророка, заступника и диктатора, гордо преодолевшего гамлетовское сомнение, но оставшегося Гамлетом в "непостижимой вершине", "на которую он самовластно себя поставил над миром", желая "соединить собой" все ту же "цепь времен".

Иван не истребил себя, как Ставрогин, и не успокоился, не смирился, как Версилов, — он остался жить со всем происшедшим кошмаром и вечным, безответным своим вопросом... Этот бредущий из десятилетия в десятилетие, из романа в роман, грешный и бунтующий, остро страдающий за все зло, совершенное человечеством, и страстно жаждущий ему счастия и покоя. Русский Гамлет есть, несомненно, *сам Достоевский,* который незадолго до смерти, пытаясь "разгадать" пушкинскую "тайну", неслучайно вспомнил о "всемирности, всепонятности и неисследимой глубине" шекспировских типов.

Елена Дрыжакова

ДРУГУ, ПРИСЛАВШЕМУ ИЗ МОСКВЫ БУМАГУ С ВОДЯНЫМИ ЗНАКАМИ ЛЕТА ГОСПОДНЯ ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ПЕРВОГО

В 2040 г. Россия будет достойна Пушкина.
Гоголь

Дней Александровых прекрасное начало
Во мгле Российския Державы просияло.
Жан-Жака обсуждал Интимный Комитет.
А воли и земли у хлебопашца нет.

Потей-терпи, мужик, еще полвека с гаком.
Начало уползло, аракчевея, раком.
Ошеломляя, шел уже Наполеон.
Хулу-хвалу равно заслуживает он...

А музы-лебеди свободного Лицея
Его у озера лелеяли, лоснея:
Шуми, поэзия, дубравой невзначай.
Журчливую струю из урны изливай.

За Декабрем: Октябрь. Ярмо: еще какое.
Не Аракчеева: а тягостнее втрое.
Владея ямбами, ты царь уже: не раб.
Когда же вырвемся из пасти и из лап?

Дней Александровых прекрасное начало
Арапа русого на славу воспитало.
Шепну: в две тысячи сороковом году
В Россию Пушкина из гроба я войду.

Юрий Иваск

Я УНЕС РОССИЮ

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

Гл. I. Русский Берлин

Общественная и культурная жизнь эмиграции

В 1920-х годах в Берлине было множество русских общественных и культурных организаций. Попробую перечислить (конечно, не полно) и о некоторых рассказать: "Русский Научный Институт", "Русская гимназия", "Русское Научно-Философское Общество", "Союз русских журналистов и литераторов", "Общество русских инженеров в Германии", "Союз русских преподавателей в Германии", "Союз русских торговопромышленных и финансовых деятелей", "Союз русских издателей", "Религиозно-философская Академия", "Союз русских сценических деятелей", "Русский Академический Союз", "Союз русской присяжной адвокатуры", "Общество русских врачей", "Русский Студенческий Союз", "Союз русских переводчиков в Германии", "Русское Общественное Собрание", "Народный Университет", "Российский Общевоинский Союз", два писательских объединения — "Клуб Писателей" и "Дом Искусств", литературные содружества молодых писателей "Веретено", "Круглый стол" (вероятно, что-то пропустил, но и этого достаточно, чтоб представить себе общественную и культурную жизнь эмиграции в тогдашнем Берлине).

Председателем "Русского Научного Института" был проф. В. И. Ясинский (высланный). Организационный комитет: — проф. Ю. Айхенвальд, Н. Бердяев, Б. Бруцкус, Е. Зубашев, А. Кизеветтер, И. Ильин, А. Каминка, Л. Карсавин, Б. Одинцов, С. Прокопович, В. Стратонов, А. Угрюмов, А. Чупров, С. Франк

См. кн. "Н.Ж". 131, 132, 133, 134, 135.

(большинство профессоров высланные). На открытии Института 17 февраля 1923 года первую речь произнес последний ректор Московского Императорского Университета — М. М. Новиков — на тему "О работе русских биологов", потом говорил проф. И. Ильин — "Проблема современного правосознания". На заседаниях "Русского Научного Института" с докладами выступали (кроме перечисленных выше) — Г. В. Вернадский, Б. П. Вышеславцев, С. И. Гессен, С. К. Гогель, П. П. Муратов, В. А. Мякотин, К. Н. Соколов, П. Б. Струве, М. А. Таубе, Н. С. Тимашев, А. А. Эйхенвальд, А. А. Боголепов, И. И. Гинзбург, А. П. Марков, Л. М. Пумпянский, П. Н. Савицкий, В. Э. Сеземан, А. М. Кулишер и др. Лекции читались такие: А. Кизеветтер "Русская история 18 и 19 веков", И. Ильин "Учение о правосознании", И. Стратонов "Церковь и государство в России", С. Франк "Введение в философию", Н. Бердяев "История русской мысли", Ю. Айхенвальд "История русской литературы", П. Струве "История хозяйственного быта России", И. Стратонов "История русского права", Н. Тимашев "Семинарий по изучению советского строя", А. Каминка "Русское торговое право", В. Мякотин "Русская история", Л. Карсавин "Россия и Запад", Б. Вышеславцев "История русского искусства", П. Муратов "История русского древнего искусства", В. Сеземан "Семинар по философии", С. Гессен "Русская педагогика", К. Соколов "Русское государственное право", М. Таубе "Международное положение России", П. Савицкий "Экономическая география России", С. Гогель "Русские судебные уставы", А. Боголепов "Местное самоуправление в России", Б. Бруцкус "Аграрная политика России", С. Прокопович "Хозяйство советской России", М. Бернацкий "Денежное обращение", А. Марков "Финансы России", Л. Пумпянский "Положение рабочих в России", И. Гинзбург "Минеральные богатства России". Может быть, что-нибудь я пропустил. Но и приведенного достаточно, чтоб увидеть, какую русскую интеллигенцию выбросили из России большевицкие псевдонимы. Эти русские ученые могли бы оказать честь любому университету любой страны. Подчеркну, что "Русский Научный Институт" был создан на русские же эмигрантские деньги. В Финансовый комитет по изысканию средств для него вошли: Н. Белоцветов, Н. Беляев, П. Бурышкин, кн. И. Васильчиков, А. Каминка, И.

Коган, И. Парамонов, С. Смирнов, М. Липман, Ф. фон Шлиппе, А. Форштеттер и А. Хрипунов.

Хочу сказать несколько слов о русских художниках. В тогдашнем Берлине их было много и разных. В 1922 году издательство "Русское Искусство" устроило в Берлине замечательную выставку работ "всех видных русских художников за рубежом". Выставка была великолепна. В прекрасном каталоге было 60 цветных репродукций. Из зарубежных художников были представлены работы: И. Я. Билибина, Н. С. Гончаровой, Б. Д. Григорьева, М. Ф. Ларионова, Н. К. Рериха, С. А. Сорина, С. Стеллецкого, С. Н. Судейкина, В. И. Шухаева, А. Яковлева, А. Бенуа, М. Добужинского, К. Коровина, К. Сомова и других.

Кроме того, в Берлине часто бывали (как теперь называют) "персональные" выставки, живших тут русских художников: Бориса Григорьева, Ивана Пуни, Георгия Лукомского, Эл Лисицкого, Н. Милиоти, Ксаны Богуславской, Павла Челищева, сделавшего позже международную карьеру. Константин Терешкович в Берлине, по-моему, не выставлялся (был очень молод и нищ), но зато позже "завоевал" Париж. Выставлялись в Берлине: Марк Шагал, Л. Зак, В. Боберман. Не помню, были ли "персональные" выставки А. Худякова, Г. Пожедаева, А. Андреева, Любича, Л. Бермана, Г. Гликмана. Одним словом, русские художники за рубежом — как и русские ученые и писатели — были на высоте. И внесли свой вклад в мировую живопись.

Не говорю уж о том, что Василий Кандинский "гремел" тогда на всю Германию (да не только "на Германию", его знал весь "живописный мир"). В городе Дессау по его проектам, говорят, строились какие-то особые дома ("абстрактные", наверное?! Жалею, что не видел!). Вместе с Кандинским видное место в живописи Германии заняли Алексей Явленский (быв. поручик русской армии) и Марианна Веревкина (в былом, дочь генерала, коменданта Петропавловской крепости). Еще в 1909 году в Мюнхене они создали "Новое художественное Общество", куда входили: братья Давид и Влад. Бурлюки, В. Денисов, В. Бехтеев, М. Коган, А. Могилевский и Вл. Издебский (которого я встречал в Париже 30-х гг.). Большинство этих русских художников были либо беспредметники, либо сторонники полупред-

метного символизма. В нацистской Германии их картины были запрещены, как "декадентские". Такая же судьба ждала бы их и в ленинской РСФСР. "Люблю все, чего нет", писала в дневнике Марианна Веревкина, как бы перекликаясь этим с Зинаидой Гиппиус — "Хочу того, чего нет на свете". В 1920 годах все русские художники (разных направлений) за рубежом слились в один свободный "живописный" поток большой силы.

1 декабря 1922 года при американской ИМКА открылась (как продолжение Петроградской "Вольфилы") "Русская Религиозно-философская Академия в Берлине". Речь на открытии произнес Н. А. Бердяев — "О духовном возрождении России и задачах Религиозно-философской Академии". Кроме него говорили С. Франк, Л. Карсавин. Курсы при Академии были: Н. Бердяев "Философия религии", Ф. Степун "Средневековое миросозерцание", Ю. Айхенвальд "Философские мотивы в русской литературе", И. Ильин "Миросозерцание и характер", и "Философия искусства", С. Франк "Греческая философия", В. Сеземан "Этика", Н. Арсеньев "Античный мир и раннее христианство", Б. Вышеславцев "Курс истории новой философии" и др. Устраивались в Академии и отдельные выступления. Так, Бердяев читал доклад "Демократия и социализм как проблемы духа". В прениях участвовали С. Гессен, Ю. Ключников, И. Ильин, Ф. Степун, Б. Вышеславцев, С. Франк и др. Б. Вышеславцев выступил с докладом "Русская стихия у Достоевского". В те годы в Берлине устраивалось много публичных лекций. Упомяну хотя бы некоторые.

Ф. Степун — "Освальд Шпенглер и закат Европы", известный монархист Евгений Амвросиевич Ефимовский — "Пути России". Ефимовский был прекрасный оратор подстать Степуну, только иного (адвокатского) стиля. В прошлом — известный московский адвокат, член "Общества Славянской культуры", член к.д. партии (ее правого крыла), в эмиграции Е.А. стал бесповоротным монархистом-националистом. Я его хорошо знавал еще по Москве, когда был студентом. Он меня даже пригласил однажды быть его секундантом на долженствующей состояться дуэли (он влюблен был в девицу, которую я с детства хорошо знал и в их доме мы оба бывали). Дуэль, увы, не состоялась, а мне очень хотелось "быть секундантом" ("Теперь

сходитесь..."). Монархисты в Берлине редко устраивали публичные выступления, одно "О февральской революции" я помню, выступали "знаменитый" Н.Е. Марков 2-й, Д.В. Кузьмин-Караваев, С.С. Ольденбург, А.М. Масленников и Н.Н. Чебышев. Не монархисты, в смысле открытых выступлений, были гораздо плодовитей. В "Союзе русских журналистов и литераторов" выступали: Е.Д. Кускова с докладом об истории "Помгола" (Комитета помощи голодающим), о том, как большевики членов "Помгола" разогнали, а кое-кого и арестовали, пришив "фантастические" обвинения; выступал известный социолог Питирим Сорокин, престарелый Вас. Ив. Немирович-Данченко, ненавидевший всю революцию до остервенения. В "Союзе русских присяжных поверенных" выступали с докладами на темы права — А. Гольденвейзер, Фальковский, Б. Гершун, Г. Бемме и др. И.А. Ильин читал публичную лекцию "Родина и гений" (о Пушкине). В "Клубе еврейской национальной молодежи из России" известный лидер сионистов Владимир Жаботинский читал доклад "Бялик и юность". Артисты МХТ, не вернувшиеся в РСФСР, — Массалитинов, Краснопольская, Егорова и др. выступали с чтением Достоевского — "Вечер образов и мыслей Достоевского". Часто с публичными лекциями на философские темы выступал некий "приватгелертер" М. Шварц, давний берлинский эмигрант. Выступал Семен Юшкевич с чтением своих вещей. В "Обществе русских врачей" (где насчитывалось 139 членов) читались медицинские доклады. В еврейско-русских кругах нашумел доклад выдающегося мыслителя и писателя, автора книги "Сумерки Европы", написанной раньше Шпенглера, но не опубликованной в России из-за революции, — Григория Ландау — "Россия и русское еврейство". Помню, после этого доклада в "Петрополисе" Я. Н. Блох мне, смеясь, сказал: "Знаете, как теперь называется Григорий Ландау?" — "Как?" — "Ответственный еврей!" — "Почему?" — "Да ведь он же считает евреев в большой мере ответственными за революцию..." Ландау погиб в Прибалтике от рук нацистов. Было публичное "поэтическое" выступление петербургского Цеха Поэтов — Г. Адамович, Н. Оцуп, И. Одоевцева, Г. Иванов. Выступал Андрей Белый (о нем я уже говорил). Выступал Илья Эренбург.

Но касаясь писателей, я лучше расскажу о двух писательских объединениях — "Клуб писателей" и "Дом Искусств". О "Клубе писателей" *изнутри* рассказать не могу, потому что там ни разу не был. Его основали "маститые" и молодежи там было мало.

"Клуб" создался в 1922 году. Инициаторами были: Б. Зайцев, П. Муратов, Ю. Айхенвальд, М. Осоргин, Н. Бердяев, С. Франк, А. Белый, А. Ремизов, Е. Кускова, В. Ходасевич. Собирались еженедельно.

Читали: И. Эренбург, В. Шкловский, П. Муратов, М. Шкапская, А. Ремизов, М. Осоргин, В. Ходасевич, Б. Зайцев и др. Н. Бердяев прочел там доклад — "Проблема любви у Достоевского". Выступал с докладом "О задачах Камерного Театра" известный режиссер этого театра, приезжавший на побывку в Берлин, Таиров, в прениях участвовали — Муратов, Вышеславцев, Бердяев и др. В те годы еще не было "железного занавеса" и приезжавшие из РСФСР писатели, художники, актеры свободно общались с писателями, художниками, актерами — эмигрантами и высланными. Так, например, приехавший первым из РСФСР Борис Пильняк не только свободно общался с эмигрантами и выступал в "Доме Искусств", но даже был на обеде у редактора газеты "Руль" И. В. Гессена, что в позднейшие времена каралось бы, вероятно, чуть ли не "высшей мерой наказания". В "Клубе" выступали, приезжавшие из РСФСР — С. Рафалович — "О театре", филолог П. Богатырев, Борис Пастернак. Ф. Степун прочел — "Стихия актерской души", в прениях выступили Б. Пастернак и А. Белый. А. Белый прочел — "О трагедии сознания".

"Дом Искусств"

Но мне думается, что "Дом Искусств" был и веселее, и интереснее. Он собирался тоже еженедельно, сначала в большом кафе "Ландграф" на Курфюрстенштрассе 75, потом на Нолендорфпляц в кафе "Леон". Основали его в конце декабря 1921 года по аналогии с петербургским "Домом Искусств". И насколько еще нити, связывавшие "два берега" русской культуры ("там" и тут), были не порваны, говорит хотя бы то, что в 1922 году "Дом Искусств" послал приветствие "Дому литераторов" в

Петербурге и получил в ответ дружеское послание, начинавшееся — "Дорогие друзья", за подписью самого председателя "Дома литераторов" Нестора Котляревского.

Первым председателем "Дома Искусств" в Берлине был избран поэт-символист Н.М. Минский, товарищем председателя А.М. Ремизов, казначеем Зинаида Венгерова. Членами правления — А. Ященко, художник Иван Пуни, худ. Н. Милиоти, Ф. Гартман, А. Толстой и др. Выступали в "Доме Искусств" и "стар и млад", и маститые, и только что начавшие занятия литературой. Особенно импозантны были собрания "Дома Искусств" в кафе "Ландграф". Зал — очень большой, лакеи сервировали еду, кофе, всяческие напитки. В кафе была хорошая эстрада, с которой читали выступавшие. Выступало тут много людей: А. Толстой, Н. Минский (поэма "Хаос", которая была действительным, но малоинтересным "хаосом"), Соколов-Микитов с своими "сказками" и "сказаниями", А. Ремизов — с "Взвихренной Русью" и всяческой "славянской вязью" и "мудренщиной", И. Эренбург завывал "Стихи о Канунах" и хорошо читал "ядовитого" "Хулио Хуренито". Выступал, конечно, Андрей Белый с стихами о России ("Россия, Россия, Россия / Мессия грядущего дня!"). Помню его одетым с некой претензией — черное жабо над широкой белизной воротника и большая желтая роза в петлице.

Помню, как именно в "Ландграф" выступили только-только приехавшие из РСФСР: Борис Пильняк и Александр Кусиков. Позднее я с обоими довольно близко сошелся, особенно с Сандро Кусиковым. На их выступление собралось много самого разнообразного народа. И вся редакция газеты "Руль" во главе с И. В. Гессеном, и меньшевики, и левые эс-эры с Шрейдером, Лундбергом и очаровательными грузинками. Пильняк читал прекрасно написанный (я вообще очень ценю этого прозаика, лет через 15-16 угробленного Сталиным в каком-то концлагере) "С'езд волсоветов". Читал он выразительно и сильно. И по заслугам пожал аплодисменты всех — без различия "политики". После Пильняка выступил Александр Кусиков. Читал свои стихи тоже неплохо. Начал, конечно, с знаменитого "Обо мне говорят, что я сволочь!", что в зале вызвало некий легкий шелест сдержанного смеха. Но и ему аплодировали, не так как

Пильняку, который действительно "захватил зал", а так — из приличия.

Этот вечер я запомнил и еще по одному обстоятельству. Мы, молодежь, не садились в ту часть зала, где сервировали еду (дороговато было нашему брату), а садились ближе к эстраде, где можно было отделаться кружкой пива. Но я видел, что в "привилегированной" части Б.И. Николаевский сидит с какими-то неизвестными мне господином и дамой. Я не обратил на это внимания. А когда через несколько дней встретился с Борисом Ивановичем, он, улыбаясь, спрашивает: "Вы меня в 'Ландграфе' видели?" — "Видел". — "А знаете, кто со мной был?" — "Понятия не имею". И, улыбаясь, Борис Иванович говорит: "Со мной сидели Алексей Иванович Рыков и его жена". Я ахнул: "Да что вы?" — "Да, да, сами захотели пойти, и, знаете, жена Рыкова всё меня просила: Б. И., покажите, который Гуль? Она ваш "Ледяной поход" в России читала и ей очень хотелось на вас посмотреть". — "Ну, я надеюсь, вы показали ей?" — засмеялся я. "Конечно..." — "Ну, и как? Одобрила?". — "А этого я уж не знаю", — засмеялся и Б.И. своим высоким сопрановым смехом.

Поясню: Николаевский был свояком Рыкова, брат Бориса Ивановича, Владимир, был женат на сестре Рыкова и они жили в одной квартире. Думаю, что Владимир был большевик, вряд ли с меньшевиком в одной квартире мог жить "председатель ВСНХ", а потом "председатель Совнаркома" А.И. Рыков.

Вот какие были тогда — в двадцатые годы — либеральные времена! Я спросил Николаевского: "А Рыкова никто не узнал в 'Ландграфе'?" — "Никто". — "Ваши меньшевики могли узнать". — "Ну, это не страшно".

Думал ли, гадал Алексей Иванович Рыков, что лет через 15 его потащат чекисты в подвал на Лубянке и "шлёпнут" там? А перед тем — на чудовищном, всенародном процессе бывший барон и бывший меньшевик Андрей Януарьевич Вышинский, кровавый "прокурор СССР", заставит его признаться на весь мир, что он, Рыков, — предатель, шпион и агент иностранной разведки. И Рыков всё это (вероятно, не без пыток) публично признает, и не то одурманенный наркотиками, не то опоенный алкоголем (Рыков был пьяница), признает, хохоча таким страшным хохотом идиота, что у слышавших его хохот

иностранных корреспондентов "мороз пробегал по коже".

"*Вышинский* (Рыкову) — Стало быть вы шпион?

Рыков (со смехом) — Можно сказать, что да.

Вышинский — И Бухарин об этом знал?

Рыков (продолжая хохотать) — Надо думать..."

Нет, тогда, в "Ландграфе", слушая Пильняка, Рыков *этого* представить себе, конечно, не мог. Не мог представить себе эдакую "встречу с Марксом". Но Рыкову даже post mortem не повезло. Сталинские эпигоны ему так и не дали "реабилитанса", и в собрании стихотворений Маяковского, в строках — "Эх, поставь меня часок на место Рыкова/. Я б к весне декрет железный выковал" — слово "Рыкова" так и не печатается до сих пор — оставлена зияющая прореха, от которой Маяковский наверняка перевертывается в гробу. Правда, теперь Рыков уже не считается "японским шпионом" иль "агентом Гестапо", "марксистски-научно" он называется — "агентурой кулачества". Это вполне мило.

Думаю, что сталинские чекисты "шлёпнули" тогда и Владимира Николаевского, как "врага народа". За долгую нашу дружбу я никогда не спросил Бориса Ивановича о судьбе его брата (считал нетактичным), а сам он никогда ничего о Владимире не сказал.

Когда "Дом Искусств" перешел из кафе "Ландграф" в кафе "Леон" стало гораздо лучше и проще. Зал — отдельный от ресторана и на собраниях никто не ел, не пил, а занимались чем должно. Кто только не побывал в "Доме Искусств"! Читал свои стихии и Вл. Маяковский, приехавший в Берлин на побывку с Лилей Брик. Впрочем, эта "дама" высшего коммуно-чекистского света в "Доме Искусств" не появилась. Было бы чересчур... Коммуно-чекистского говорю потому, что ее пресловутый супруг Осип Брик начал свою карьеру как "юрисконсульт "Петроградской ЧеКа. при Гришке Зиновьеве. Официально эта должность называлась "заведующий юридической частью" Петроградской ЧеКа. Какова могла быть "юрисконсультация"? Как расстреливать? В лоб или в затылок? Нет. Ося Брик занимался более тонкой "консультацией": например, формулировкой обвинений против расстрелянного поэта Николая Гумилева, нахождением в его поэзии "контрреволю-

ционности", "реакционности". Брик же был "литературовед", ну, вот и работал в ЧК по специальности. Позже, в Москве, Брики были друзьями омерзительного, высокого ранга чекиста Якова Савловича Агранова, в "салоне" которого бывали писатели, поэты (Маяковский, Асеев, Пильняк, Бабель, Всев. Иванов и др). Ménage à trois — Бриков и Маяковского общеизвестен. Но, повторяю, в "Дом Искусств" со своим зитц-мужем Маяковским "знаменитая" Лиля все-таки не пришла*. Б. Пастернак говорил: "Квартира Бриков была в сущности отделением московской милиции".

В Берлине с Маяковским я провел раз целый вечер — на обеде у Жени Манделя (вернувшегося в СССР), беспутного богемьена, вероятно попавшего-таки на Архипелаг ГУЛАГ. Но об этом расскажу позже. А сейчас хочу сказать о выступлениях Маяковского в "Доме Искусств". Оговорюсь для ясности: я никакой не любитель этой "тяжеловозной" "ломовой" поэзии, а многие "о бутербродно-пошлые агитки вызывали во мне всегда отвращение. Например:

"Партия и Ленин —
близнецы-братья —
Кто более
матери-истории ценен?

Мы говорим — Ленин,
подразумеваем — партия,
Мы говорим —
партия, подразумеваем
Ленин!"

Но выступления его в "Доме Искусств" были великолепны. Маяковский понимал, с чем здесь выступить, это не комсомольское собрание, чувствовал аудиторию. И читал старые вещи. И это было чудесно. Во-первых — голос. Превосходный, отчетливо-бархатный баритон, как какой-то инструмент, а не голос. Во-

---

* В английской книге (I love: the story of V. Mayakovsky and Lili Brik, by Ann and Samuel Charters, 1979) есть рассказ, как Лиля Брик вербовала переводчицу Риту Райт (Rita Rait) в сотрудницы ОГПУ. Задачей Риты было давать сведения о русских эмигрантах в Берлине 20-х гг. Для этого Лиля устроила Рите встречу с агентом ОГПУ.

вторых, манера чтения обрывистыми строками, но все-таки с совсем легким полунапевом — хороша. И аудиторию "Дома Искусств" — писателей, поэтов, художников, актеров — он победил.

"Вы думаете, это бредит малярия?
Это было
Было в Одессе
Приду в четыре — сказала Мария
Восемь
Девять
Десять

И сразу чуть уловимый переход ритма и мелодии:

Вот и вечер в ночную жуть
Ушел от окон
Хмурый
Декабрый..."

Чтение Маяковского было какое-то оркестровое. Будто читает не один человек, а стихотворение ведет какая-то оркестровая музыка. Это было по-настоящему хорошо. И запомнилось.

В "Доме Искусств" я познакомился с М.А. Алдановым. Он был тогда молод, элегантен и красив просто "до невероятия", уж очень правильны черты лица, уж очень ясны, светлы глаза, уж очень он весь был изысканно-джентльменский. Не буду перечислять, кого я тут встречал, кто здесь выступал. Выступало множество людей: Толстой, Эренбург, Адамович, Георгий Иванов, Степун, Ремизов, тот же режиссер Камерного театра Таиров... Обрываю. Лучше расскажу, как тут я увидел Сергея Есенина. И — о встречах с ним в Берлине.

Сергей Есенин за рубежом

Это было летом 1922 года. В "Доме Искусств" все уже знали, что в Берлин прилетел Сергей Есенин с Айседорой Дункан, и они придут в "Дом Искусств". Народу собралось много. Шла обычная программа, но все явно ждали Есенина. И действительно, эти знаменитости приехали, но почти к концу вечера. По залу пробежали голоса: "Есенин, Есенин приехал".

Он вошел в зал впереди Айседоры. Она — за ним. Это пустяк. И все-таки характерный, муж с женой так не ходят. Есенин был в светлом костюме и белых туфлях. Айседора в красноватом платье с большим вырезом. Есенина встретили аплодисментами. Но далеко не все. Произошло какое-то замешательство, в публике были поклонники и противники Есенина. Во время этого замешательства и общего шума один больше чем неуравновешанный (умопомешанный) эмигрант (крайне правых настроений) вдруг ни с того ни с сего заорал во всё горло, маша рукой Айседоре Дункан: "Vive L'Internationale!". Это было совершенно неожиданно для всех присутствовавших, да, наверное, и для Айседоры. Тем не менее она с улыбкой приветственно помахала рукой в сторону закричавшего полупомешанного и крикнула: "Chantons la!". Общее замешательство усилилось. Часть присутствовавших запела "Интернационал" (тогда официальный гимн РСФСР), а часть начала свистать и кричать "долой! к черту!".

Н.М. Минский неистово звонил, маша председательским колокольчиком, Есенин почему-то вскочил на стул, что-то крича об Интернационале, о России, о том, что он русский поэт, что он не позволит, что он умеет и не так свистать, а в три пальца. И заложив в рот три пальца действительно засвистал как разбойник на большой дороге. Свист. Аплодисменты. Покрывая всё, Минский прокричал:

— Сергей Александрович сейчас прочтет нам свои стихи!

Свист прекратился, аплодисменты усилились. Стихли. А Есенин, спрыгнув со стула, подошел к председательскому месту и встал, ожидая полного успокоения зала. Оно воцарилось не сразу. Айседора села в первом ряду, против Есенина. И Есенин зачитал. Читал он не так хорошо, как Маяковский. Во-первых, голос не тот. Голос у Есенина был скорее теноровый и не очень выразительный. Но стихи захватили зал. Когда он читал: "Не жалею, не зову, не плачу / Все пройдет, как с белых яблонь дым..." — зал был уже покорен. За этим он прочел замечательную "Песнь о собаке". А когда закончил другое стихотворение последними строками: "Говорят, что я скоро стану/ Знаменитый русский поэт!" — зал, как говорится, взорвался общими не-

смолкающими аплодисментами. "Дом Искусств" Есениным был взят приступом.

В этот вечер я вблизи не видел Есенина. Мы скоро ушли своей компанией. А Есенина и Дункан Н.М. Минский (как рассказывает в своей английской книге "Багаж" Ник. Дм. Набоков, будущий композитор, будущий приятель С. Дягилева, И. Стравинского, а тогда просто молодой человек) познакомил с Набоковым, который должен был стать их провожатым в какое-то гомосексуальное кафе, что для московского гостя было "берлинской диковиной". У Набокова об этом ночном путешествии рассказывается довольно подробно, но не очень убедительно, к тому же Есенина он почему-то называет Сергеем *Константиновичем* (видимо, производя это отчество от села Константиново — родины Есенина), а Минского — *Михайловичем* вместо Максимовича.

Вторично я увидел Есенина уже вблизи. Опять в "Доме Искусств". Он пришел туда с Александром Кусиковым. В зале было много народа. Был перерыв. Все стояли. Я стоял с М. А. Осоргиным. И когда Есенин (а за ним Кусиков) протискивались сквозь публику, Есенин прямо наткнулся на Осоргина.

— Михал Андреич! Как я рад! — воскликнул он, пожимая двумя руками руку Осоргина.

— Здравствуй, Сережа, здравствуй, — здоровался Осоргин. — Рад тебя видеть!

— И я рад, очень рад, — говорил Есенин, — только жаль вот мне, что я — красный, а ты — белый!

— Да какой же ты красный, Сережа? — засмеялся Осоргин. — Посмотри на себя в зеркало, ты же — лиловый!

Верно, Есенин был лиловат от сильной напудренности. И Кусиков был "припудрен", но не так обильно. Конечно, в те времена парикмахеры после бритья слегка пудрили ваше лицо, но потом обтирали салфеткой. Имажинисты же почему-то оба были не только не обтерты, но сами, видно, брились и пудрились. Это производило не очень приятное впечатление. Почему они этого не понимали — не ведаю.

Вот тут я Есенина разглядел. В письме к Ромену Роллану Максим Горький о Есенине пишет так: "... маленького роста, изящно сложенный, с светлыми кудрями... голубоглазый,

чистенький... ему тогда было 18 лет, а в 20 он уже носил на кудрях своих модный котелок и стал похож на приказчика из кондитерской". Ничего схожего с этим портретом Есенина кисти Горького в Есенине я не увидел. Правда, ему было не 18-20 лет, а 27. Но "маленького" роста он не был. "Маленький" всегда нечто карликоватое. Есенин был "невысокого", но вполне нормального роста. Впечатления "маленького" никак не производил. "Изящного" в нем тоже ничего не было и не знаю, было ли когда-нибудь? Был он сложен как-то по-крестьянски, хоть и одет в модный дорогой костюм. "Голубоглазого" тоже не было. Глаза были какие-то тускловатые (м.б. девять-восемь лет тому назад он и был "голубоглаз"). Все лицо какое-то измученно-бледное (поэтому м.б. и пудрился). "Светлые кудри" были, но тоже без яркости, а просто блондинистые волосы. Что мне показалось в лице неладным, — низкий лоб, на который были приспущены волнистые волосы. От "приказчика из кондитерской" ничего в нем, конечно, не было. Это Горький от "социал-демократичности", наверное, написал. А котелок он, по-моему, никогда не носил, в Москве носил — "знаменитый" цилиндр ("сын ваш — в цилиндре и в лакированных башмаках"). Об истории "цилиндров" рассказал Мариенгоф в "Романе без вранья".

На замечание Осоргина о "лиловости" Есенин ничего не ответил, помахал рукой, прощаясь, и они с Кусиковым ушли. С Кусиковым я был хорош, мы поздоровались.

Вскоре Есенин — через Кусикова — передал свою автобиографию в "Новую Русскую Книгу". Она была написана рукой, на небольших листах, с отставленными друг от друга буквами и падающими вправо строками. По-моему, эта была *первая* написанная им автобиография. В ней Есенин писал: — "в РКП/б/ никогда не состоял потому что чувствую себя гораздо левее", а об имажинистах — "коммунисты нас не любят по недоразумению". Автобиографии в "Нов. Русс. Книге" печатались в отделе "Писатели о себе". Надо сказать, за ничтожными исключениями, все писатели в автобиографиях кривлялись, как могли, стараясь выпендриться перед всем светом, каждый по-своему. Увы, это дурная болезнь всех "публичных мужчин" (выражение Герцена). Когда кончилась "Новая Русская Книга", я

взял себе рукописи всех автобиографий: Маяковского, Есенина, Пильняка, А. Белого, Кусикова, Эренбурга и мн. др. и отдал переплести книгой. Книга вышла, действительно, литературно ценная, и привела моего друга художника Н.В. Зарецкого в "расстройство нервов". Он стал ее выпрашивать: подари да подари, зачем тебе она, ты потеряешь, а я ее сохраню. Будучи человеком не архивным, я сдался и подарил ему рукописи автобиографий. Позднее Зарецкий передал эту книгу в знаменитый пражский эмигрантский архив, а во время войны этот архив захватили занявшие Прагу большевики. И весь архив — а в нем и книга автобиографий — ушел в Москву.

Итак, Есенин с Айседорой из Берлина — через Париж — отправились в Америку, взяв с собой, как переводчика "между ними", А. Ветлугина (В.И. Рындзюка), ибо Есенин ни слова не говорил по-английски, а Айседора коверкала два-три слова по-русски. Приехали "молодые" в Америку в конце октября 1922 года, в Нью Йорк. Остановились — как и должно знаменитостям — в самом фешенебельном отеле Валдорф-Астория на Пятом авеню. У Айседоры был контракт — танцевать в ряде городов восточных и центральных штатов. А Есенину оставалось ее "сопровождать", что было, конечно, несколько унизительно, ибо возила его Айседора, как некую "неговорящую знаменитость", после своих выступлений выводя на сцену и представляя публике, как "второго Пушкина".

Неудивительно, что именно тут , в Америке произошли самые буйные и безобразные сцены сего кратковременного брака. О них есть два рассказа — Вен. Левина, журналиста, стихотворца, левого эс-эра, имажиниста, ставшего в Америке эмигрантом и Абрама Ярмолинского, переводчика на английский и литератора. Я бы обошел их, если б они не приоткрывали некую серьезную и страшную подробность в жизни Есенина.

По окончании турне Айседоры, Есенину в Нью Йорке удалось "разговориться". Он встретил прежнего приятеля Леонида Гребнева (Файнберга), который в Москве "ходил в имажинистах", а в Америке стал писать на идиш, сделав себе имя в еврейской печати. Встретил и другого "корешка" Вениамина Левина, бывшего левого эс-эра, с которым Есенин дружил в

Москве 1918-20 годов. У еврейского поэта Брагинского, писавшего на идиш под псевдонимом Мани-Лейб, в скромной квартире, собрались еврейские поэты приветствовать Айседору Дункан и Сергея Есенина. Ну, разумеется, пили. А что же собравшимся вместе поэтам делать? Конечно, пить и читать свои стихи. Так и было.

Пьяный Есенин прочел отрывок из "Страны негодяев". По рассказу В. Левина, Есенин, читая, будто бы изменил одну строку в устах своего героя Замарашкина — "Я знаю, что ты еврей" — прочел не "еврей", а "жид". Думаю, что Левин говорит правду, ибо всё последующее это подтверждает. Этой "переменой" евреи возмутились. А когда Айседора согласилась танцевать и начала танец, это привело пьяного Есенина в такое дикое бешенство, что, ругаясь матерной бранью, он бросился на нее с кулаками, грозя убить. Все пришли Айседоре на помощь, стали Есенина унимать. Но это было нелегко. В этой достаточно безобразной сцене Есенин будто бы пытался выброситься из окна, а Айседора дала понять, что он подвержен "припадкам", и посоветовала для его же пользы его связать. Но когда присутствовавшие начали вязать Есенина веревкой для сушки белья, он, естественно, пришел в еще большее бешенство, дрался, сопротивлялся, крыл схвативших его евреев — "проклятыми жидами!", кричал "распинайте меня, распинайте!" Обруганный "жидом" Брагинский будто бы дал Есенину пощечину, а тот плюнул ему в лицо. Вообще поэтическая вечеринка оказалась мало "поэтичной".

Но на другой день поэты, разумеется, примирились. Мани-Лейб с женой приехали к Есенину в отель восстановить дружбу. А душевно и физически разбитый Есенин написал Мани-Лейбу письмо, которое Ярмолинский приводит в подлинном его написании (со всеми ошибками и недописками):

"Милый, Милый Монилейб!

Вчера днем Вы заходили ко мне в отель, мы говорили о чем-то, но о чем я забыл потому что к вечеру со мной повторился припадок. Сегодня я лежу разбитый морально и физически. Целую ночь около меня дежурила сест. милосердия. Был врач и вспрыснул морфий.

Дорогой мой Мони Лейб! Ради Бога простите меня и не думайте обо мне, что я хотел что-нибудь сделать плохое или оскорбить кого-нибудь. Поговорите с Ветлугиным, он Вам больше расскажет. Это у меня та самая болезнь, которая была у Эдгара По, у Мюссе. Эдгар По в припадках разб. целые дома.

Что я могу сделать мой Милый Милый Монилейб, дорогой мой Монилейб! Душа моя в этом невинна, а пробудившийся сегодня разум подвергает меня в горькие слезы, хороший мой Монилейб! Уговорите свою жену чтоб она не злилась на меня. Пусть постарается понять и простить. Я прошу у Вас хоть немного ко мне жалости.

Любящий Вас Всех
Ваш С. Есенин

Передайте Гребневу все лучшие чувства к нему. Все ведь мы поэты братья. Душа у нас одна, но по-разному она бывает больна у каждого из нас. Не думайте, что я такой маленький что-бы мог кого-нибудь оскорбить. Как получите письмо передайте всем мою просьбу простить меня".

Что в письме идет речь об эпилепсии — ясно. И Левин пишет, что, когда он пришел к Есенину через два дня после вечеринки, тот ему сказал, что все его буйство на вечеринке кончилось припадком эпилепсии, которую Есенин унаследовал от деда. Мы знаем, что в одном из своих стихотворений Есенин писал — "одержимый тяжелой падучей". Но я всегда думал, что это только "стилистическая фигура", а никак не самая настоящая "медицина".

Еще более невероятное буйство произошло в Париже, когда Есенин и Айседора, вернувшись из Америки, остановились в фешенебельном Hotel Crillon. Здесь в своем пьяном безумии Есенин перебил зеркала, переломал мебель, Айседора спаслась бегством: бросилась вызвать доктора. Но когда вернулась, Есенина не застала, его арестовала французская полиция. Только с помощью каких-то влиятельных друзей Айседоре удалось освободить Есенина, тут же уехавшего в Германию, в Берлин, по пути в Москву.

Вторично я увидел Есенина (уже разорвавшего свой "брак" с Айседорой) в Берлине перед отъездом в Москву. В Шубертзале

был устроен его вечер. Но это его выступление было мрачно. Кусиков рассказывал мне, что Есенин пьет в мертвую, что он "исписался", что написанные им стихи ничего не стоят. Когда Кусиков мне это говорил, я подумал: Моцарт и Сальери. Так оно и было. Ведь среди, так называемых, "людей искусства" подлинная дружба, да и просто настоящие человеческие отношения очень редки. Публичные мужчины подвержены какой-то душевной "проституции".

Шубертзал был переполнен. Тут уж привлекал не только Есенин-поэт, но и разрыв и скандал с Дункан. Это было размазано в газетах. Когда, встреченный аплодисментами, Есенин вышел на эстраду Шубертзала — я обмер. Он был вдребезги пьян, качался из стороны в сторону, и в правой руке держал фужер с водкой, из которого отпивал. Когда аплодисменты стихли, вместо стихов Есенин вдруг начал ругать публику, говорить какие-то пьяные несуразности и почему-то, указывая пальцем на Марию Федоровну Андрееву, сидевшую в первом ряду, стал ее "крыть" не совсем светскими словами. Все это произвело гнетущее впечатление. В публике поднялся шум, протесты, одни встали с мест, другие кричали: "перестаньте хулиганить! читайте стихи!" Какие-то человеки, выйдя на эстраду, пытались Есенина увести, но Есенин уперся, кричал, хохотал, бросил, разбив, об пол свой стакан с водкой. И вдруг закричал: "Хотите стихи?!... Пожалуйста, слушайте!..."

В зале не сразу водворилось спокойствие. Есенин начал "Исповедь хулигана". Читал он криком, "всей душой", очень искренне, и скоро весь зал этой искренностью был взят. А когда он надрывным криком бросил в зал строки об отце и матери:

"Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш брошенный в меня!"

— ему ответил оглушительный взрыв рукоплесканий. Пьяный, несчастный Есенин победил. Публика устроила ему настоящую овацию (вероятно, к вящему неудовольствию Сальери).

Потом был вечер, на котором я познакомился с Есениным. Это было в зале Союза Немецких Летчиков. Уж не помню, кто устраивал вечер, кажется, газета "Накануне". Народу была тьма. Все сидели за столиками. Кто-то выступал: кажется, Толстой, Кусиков, кто-то еще. Последним выступил Есенин, впервые

прочтя "Москву кабацкую". И что там не говори, но в его чтеньи была настоящая сила искусства.

После выступлений все занялись едой и питьем. Наш столик (со мной был Корвин-Пиотровский, актриса Оля Протопопова, кто-то еще) был напротив столика, за которым сидели — Толстой, Крандиевская, Кусиков с какой-то очередной брюнеткой и Есенин. В зале играл оркестр. Есенин — по виду — был уже пьян, вскидывал головой, чему-то улыбался, смотрел в пьяное пространство. Потом вдруг встал с стаканом в руке, пошел нетвердой походкой. Подойдя к нашему столику, остановился и, обращаясь ко мне, проговорил с пьяной расстановкой:

— У вас очень хорошее лицо. Давайте познакомимся. Я — Есенин.

Я был тоже не трезв, но, конечно, не так.

— Давайте, познакомимся.

Мы пожали друг другу руки и Есенин также пьяно пошел куда-то в коридор с фужером в руке. Здесь я уже совсем близко разглядел Есенина: мелкие черты несколько неправильного лица, с низким лбом, лицо приятно-крестьянское, очень славянское с легкой примесью мордвы в скулах. В отрочестве и юности Есенин вероятно был привлекателен именно так, как пишут о нем, знававшие его в те времена. Сейчас лицо это было больное, мертвенно-бледное с впалыми щеками. Честно говоря мне было его жаль, в нем было что-то жалостливое, невооруженным глазом было видно, что этот человек несчастен самым настоящим несчастьем. Когда он вернулся в зал, кто-то заказал оркестру трепак. Трепак начался медленно, "с подмывом". Мы все, окружив Есенина, стали просить его проплясать. Есенин стоял, глядя в пол, потом улыбнулся. Но темп был хорош, подмывист, и вдруг Есенин заплясал. Плясал он, как пляшут в деревне на праздник — с коленцем, с вывертом. Окружив его кольцом, мы кричали:

— Вприсядку, Сережа! Вприсядку!

И вдруг смокинг Есенина легко и низко опустился и он пошел по залу присядкой. Оркестр все ускорял темп, доходя до невозможного плясуну. Мы подхватили Есенина — под гром аплодисментов — под руки. И все пошли за общий стол. Тут, помню, почему-то заговорили о советских поэтах. Я похвалил В.

Казина за его "Рабочий май" ("Почтальон пришел и зачарованный / Пробежав глазами адреса / Увидал, что письма адресованы / Только нивам да лесам"). Но Есенин вдруг недовольно замахал рукой:

— Да что вы, да что это за поэты! Да это ведь всё мои ученики. Я же учил их писать! Да нет же, они вовсе не поэты...

И я понял, что Есенин тоже болен профессиональной дурной болезнью "публичных мужчин": не выносит похвал другим "публичным мужчинам".

Толстой с Крандиевской уехали. Уставшие злые лакеи, умышленно громко собирали посуду, звеня тарелками. Я шел в подпитии по пустому залу. И вместо того, чтобы попасть к нашему столику, вошел в коридор, где лакеи составляли посуду. Тут на столе сидел Есенин и сидя спал. Сидел по-турецки, подвернув под себя ноги, как сидят у костра крестьянские мальчишки в ночном. Рядом с ним стоял фужер с водкой и сидел Глеб Алексеев.

— Алексеев, — сказал я, — его надо увести.

— Он спит, — сказал Алексеев.

— Ну, разбуди его, ведь скоро же запрут зал...

Есенин не слышал. Лица его не было видно. Висели только волосы. Алексеев разбудил его. Есенин спрыгнул со стола, потянулся и сказал как в просоньи:

— Я не знаю, где мне спать.

— Пойдем ко мне, — сказал Алексеев.

И мы вышли втроем из Дома Немецких Летчиков. Было часов пять утра. Фонари уж не горели. Берлин был коричнев. Где-то в полях, вероятно, уже рассветало. Мы шли медленно. Алексеев держал Есенина под руку. Но на воздухе он быстро трезвел, шел тверже, и вдруг пробормотал:

— Не поеду я в Москву... не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн...

— Да что ты, Сережа? Ты что — антисемит? — проговорил Алексеев.

И вдруг Есенин остановился. И с какой-то невероятной злобой, просто с яростью, закричал на Алексеева:

— Я — антисемит?! Дурак ты, вот что! Да я тебя, белого, вместе с каким-нибудь евреем зарезать могу... и зарежу...

понимаешь ты это? А Лейба Бронштейн, это совсем другое, он правит Россией, а не он должен ей править... Дурак ты, ничего ты этого не понимаешь...

Алексеев старался всячески успокоить его и вскоре раж Есенина прошел. Идя, он бормотал:

— Никого я не люблю... только детей своих люблю. Люблю. Дочь у меня хорошая... — блондинка, топнет ножкой и кричит: я — Есенина!.. Вот какая у меня дочь... Мне бы к детям... а я вот полтора года мотаюсь по этим треклятым заграницам...

— У тебя, Сережа, ведь и сын есть? — сказал я.

— Есть, сына я не люблю... он жид, черный... — мрачно отозвался Есенин.

Такой отзыв о сыне, маленьком мальчике, меня как-то резанул по душе, но я решил "в прения не вступать"... А Есенин все бормотал:

— Дочь люблю... она хорошая... и Россию люблю... всю люблю... она моя, как дети... и революцию люблю, очень люблю революцию, а вот ты, Алексеев, ничего-то ты во всем этом не понимаешь... ничего... ни хрена...

Уже начало рассветать. Берлин посветлел. Откуда-то мягко зачастили автомобили. Мы остановились на углу Мартин-Лютерштрассе. Я простился с Есениным и Алексеевым, и повернул к себе — к Мейнингерштрассе. Идя, я все еще слышал голос Есенина, что-то говорившего Алексееву.

Потом я видел Есенина раз у Кусикова. Там — пилось и елось. Кусиков пел цыганское под гитару, свой собственный романс "Обидно, досадно, до слез, до мученья / Что в жизни так поздно мы встретились с тобой!". И рассказывал, что когда он приходит в русский ресторан "Медведь" (недалеко от Виттенбергпляц), то оркестр сразу же мажорно встречает его этим романсом "Обидно, досадно". Есенин под балалайку пел частушки собственного сочинения:

"У бандитов деньги в банке
Жена кланяйся Дунканке!"

Это было совсем уже перед его отлетом в Москву. В сентябре 1923 года Есенин туда улетел. А в декабре 1925 года в Ленинграде повесился ("До свиданья, друг мой, до свиданья...").

Хоть роман Айседоры с Есениным и кончился мрачно, все

же она полетела в 1923 году вслед за ним. Айседору я видел в Берлине на ее выступлении. В большом зале под оркестр Айседора танцевала "Интернационал". Говорят, в Москве этот ее "Интернационал" был так успешен, что его смотрела даже сама "гениальная горилла" — Ленин. Есть такая статья в журнале "Музыкальная жизнь": — "Ленин смотрит Интернационал". А литературный болтун Луначарский так писал об Айседоре: "В центре миросозерцания Айседоры стояла великая ненависть к нынешнему буржуазному быту. Ей казалось, что и нынешняя биржа, и государственная чиновничья служба, и современная фабрично-заводская работа, и весь уклад обывательской жизни, всё, за исключением некоторых, по ее мнению, оставшихся здоровыми частей деревни, представляет из себя грубый и глупый отход от природы. Весь мир казался ей совершенно так же, как Карлейлю и Рескину, изуродованным капитализмом!" Вот как! О литературной пошлости Луначарского за рубежом была напечатана убийственная статья М.А. Алданова, разбирающая "художественное /драматическое/ творчество" этого большевицкого пошляка и пустозвона, кого сам Ленин называл "наша балерина".

Глядя на танцевальный "Интернационал" Айседоры, я чувствовал какую-то неловкость за эту в былом большую артистку. Тяжеловесная, с трясущимися под туникой грудями Айседора выделывала какие-то па, бегала по сцене, принимала какие-то позы: и все это долженствовало "выявить мощь пролетариата". Бедный пролетариат! И бедная Айседора, как все артисты, не могшая во время уйти со сцены. Много позднее я прочел ее прекрасные воспоминания. Это было уже после страшной, трагической смерти Айседоры Дункан. Некоторые говорят, что смерть Айседоры была не случайной. Я этого не думаю. Ее задушил собственный длинный шарф, попавший в колесо автомобиля.

Иллюзии примирения

Евразийство. Сменовеховство. Милюков. Маклаков и др.

Замечательный поэт и прозаик Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников) был тонким острословом. Как-то в Берлине

Эренбург мне рассказывал, что в РСФСР он был вместе с Сологубом на каком-то собрании писателей и "начальства". Говорилось о положении писателя, "задачах" его в РСФСР и пр. Говорил и Сологуб. Его выступление чем-то не понравилось "начальству" и "начальство" довольно грубо его спросило: "Так что же вы, значит, Федор Кузьмич, против коллектива?" На что Сологуб, помолчав, ответил: "Нет, я за коллектив, но составленный из единиц, а не из нулей". Тогда еще можно было "выражаться" относительно свободно. Тому же Сологубу принадлежит другое острословие: "Октябрьская революция это — обезьяна французской". Ничего не скажешь — остро. Но история показала, насколько это суждение было ошибочно и упрощено. А, к сожалению, именно так большинство русской интеллигенции восприняло ленинский Октябрь, измеряя его "французским термометром", что привело многих к роковым заблуждениям, личным трагедиям и политической пустоте.

Конечно, так называемая "Великая" французская революция с ее Кутонами, Маратами, Робеспьерами, Дюмуленами, с Сентябрьскими убийствами, с гильотиной на Гревской Площади была достаточно омерзительна. Но теперь-то мы видим, что эта омерзительность была детской по сравнению с большевицкими массовыми убийствами десятков миллионов людей, с Архипелагом ГУЛАГ, с террором, длящимся седьмой десяток лет, с превращением нации в "коллективистское стадо", с полным уничтожением духовной элиты страны и, главное, с международным размахом этой антикультуры ленинизма.

Ничего не поделаешь: русская антибольшевицкая интеллигенция долго ошибалась "термометром". А когда Сталин показал глубинную "температуру" ленинского Октября, русской интеллигенции внутри страны уже не было (ее уничтожили физически), а в изгнании, на Западе, она умирала. Когда-то С. Л. Франк писал: "Основная, самая существенная, грозная и, по нашему убеждению, гибельная коллективизация, которую ставит своей задачей советская власть, есть не внешняя коллективизация капитала, промышленности, сельского хозяйства, а *внутренняя* коллективизация человеческих душ". Эту "коллективизацию человеческих душ" в СССР, это перевоспитание *людей* в двуногую нелюдь показал в "Архипелаге ГУЛАГ" Александр

Солженицын, а еще острее Александр Второй — Зиновьев в "Зияющих высотах" и в "Светлом будущем". Зиновьев пишет: "Что внесет русский народ в эту новую общность, исчезнув с лица земли в качестве русского народа? А он фактически исчезает в качестве нации. Революция, гражданская война, коллективизация, бесконечные репресии, вторая мировая война — все это сокрушило Россию, как национальное образование. России давно уже нет. И не будет больше никогда. Осталось русское население — материал для чего-то другого, только не для нации".

Характерно, что А. Зиновьев (плоть от плоти "советский человек") вовсе и не ищет никакого духовного (и политического) выхода из тупика-нужника, так называемого, СССР. Отношение Зиновьева к свободе Запада — слегка насмешливое. И это естественно, ибо "коллективизация человеческих душ" уничтожает в человеке прежде всего "инстинкт свободы". Тот "инстинкт свободы", который был чрезмерен у Михаила Бакунина и начисто отсутствовал у Маркса. В гитлеровские времена в Европе, когда страна за страной падали под натиском нацистского тоталитаризма, таких "насмешливых" людей на Западе было очень много — хоть пруд пруди.

И все же? И все же — шаткая западная свобода устояла. Духовно победила Гитлера колыбель европейской свободы — Великобритания. Тогда она *одна,* почти безоружная, выстояла. А не выстояла б вся бы Европа оказалась во власти гитлеровщины, которой в те годы усердно помогала и сталинщина. Поэтому и при теперешнем явном разложении Запада все-таки еще рано петь ему отходную и переставать любить *свободу человека.*

Большевицкий тоталитаризм давно переброшен за границы СССР: Китай, Камбоджа, Вьетнам, Восточная Германия, Чехословакия, Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, Югославия, Албания, Абиссиния, Куба, некоторые арабские и африканские страны. Уже больше полмира захвачено лапами Ленина. Мы давно вступили в новую эпоху бесчеловечья. Всего этого русская политическая эмиграция в 20-х гг., конечно, не предвидела, не могла предвидеть, относя всяческие зверства к "эксцессам революции" — к гильотине на Гревской площади. Но ведь

пришел же — после гильотины — Термидор? Пришел Наполеон? Пришла даже реставрация Бурбонов? "Французский термометр" жестоко подвел русскую политическую эмиграцию...

Евразийцы

В начале 20-х годов в русском зарубежье выступили два народившихся идеологических течения — евразийство и сменовеховство. Первое евразийское издание "Исход к Востоку" вышло в Болгарии, в Софии, в 1921 году. Последующие — "Утверждение евразийцев" и журнал "Евразийский временник" — в Берлине, а самая последняя — "Евразийская хроника" — в Париже в конце 20-х годов. "Окну в Европу" они противопоставляли "упор на Азию". Евразийство объединило группу молодых и блестящих русских ученых и писателей. В послеоктябрьской России-СССР они увидели особый "евразийский мир", долженствующий пойти *своим особым путем*. "Мы ведем счет от исторической колыбели русского племени, от собирающего центра, который объединил Евразию именно в виде России, — писал талантливый экономист и историк Петр Николаевич Савицкий. — Россия-Евразия есть обособленное и целостное 'месторазвитие' ... Смычка географии с историей подразумевает наложение на сетку географических признаков сеток признаков *исторических,* которые характеризуют Россию-Евразию как особый исторический мир".

Другой видный идеолог евразийства, блестящий филолог князь Н.С. Трубецкой (сын князя Сергея Николаевича, общественного христианского деятеля, профессора, историка философии) писал: "Национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской Империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемых как особая многонародная нация, и в качестве таковой обладающая своим национализмом". Политически гораздо "левее" (если так можно сказать) забиравший Петр Сувчинский, проповедовавший некое обязательное "народоводительство" писал: "Именно в своих идеях народоводительства коммунизм имеет что завещать будущему. Перед Россией стоит непреложная проблема созда-

ния сильной *автократической власти*". И князь Н.С. Трубецкой, как бы в унисон Сувчинскому, так говорил о Советской России: "Согласно евразийскому учению о правящем отборе во всяком государстве непременно должен существовать *правящий слой*... Тип отбора, который согласно евразийскому учению, ныне призван *установиться в мире* (!!! Р.Г.), и в частности в России-Евразии, называется *идеократическим* и от правящего слоя отличается признаком *общности мировоззрения*... Мы чтим прошлое и настоящее западно-европейской культуры, но не ее мы видим в будущем. С трепетной радостью, с дрожью боязни предаться опустошающей гордыне — мы чувствуем, вместе с Герценом, что ныне "история толкается в наши ворота". Толкается... для того, чтобы в великом подвиге труда и свершения Россия так же раскрыла миру некую общечеловеческую правду, как раскрывали ее величайшие народы прошлого и настоящего... Созерцая происходящее, мы чувствуем, что находимся посреди катаклизма, могущего сравниться с величайшими потрясениями известными в истории, с основоположными поворотами в судьбах культуры, вроде завоевания Александром Македонским Древнего Востока или Великого Переселения Народов... историческая спазма, отделяющая одну эпоху от другой мировой истории от следующей, уже началась. Мы не сомневаемся, что смена западноевропейскому миру придет с Востока..."

И уже совсем рискованные мысли высказывал видный евразиец, талантливый философ и писатель (несколько неврастенический человек, часто перехватывавший через край) Владимир Николаевич Ильин. В статье об "идейной близости" евразийцев и большевиков он писал: — " 'идейная близость к большевикам' ... весь вопрос в том, что разуметь под большевиками? Если под ними разуметь актуальную российскую государственность, ее духовные и экономические нужды, вопросы безопасности границ и т.д., то в этой сфере евразийцы не только 'идейно близки' к большевикам, но и готовы прямо отождествить себя с ними..."

Правда, другой видный евразиец, блестящий ученый, богослов и историк Георгий Васильевич Флоровский писал, что "учтенье русской революции евразийцами никоим образом не

является 'принятием ее'..." Но евразийство в целом было, конечно, поиском "моста примирения" с советской действительностью. И этот иллюзорный "мост" кончился страшным крахом потому, что большевики использовали его, сначала добившись разложения евразийцев, а потом и *физического уничтожения* тех, до кого могли "дотянуться". В этом была ленинская логика: *мыслящих по-своему* русских людей планомерно *физически уничтожали* в масштабе всего государства начиная с 1917 года.

Как же большевики уничтожили эту (евразийскую) зарубежную иллюзию примирения? Все так же. По-бесовски. Сначала провокационной связью из СССР, а потом и убийствами. С некоторых пор в евразийской печати стали вдруг появляться статьи и "документы" из Москвы от "евразийцев из РСФСР". Что же писали эти чекисты-евразийцы? Писали очень неглупо: "Россия представляет собой особый мир... Наряду с отрицательными сторонами революции евразийцы видят положительную сторону в открывающейся ею возможности освободиться России-Евразии *из-под гнета европейской культуры" (!!! Р. Г.).* Или — "Евразийцы должны образовать Евразийскую партию для замены Коммунистической в ее организационно-правительственном значении". Или — "Евразийцы являются сторонниками широкого государственного *регулирования и контроля* хозяйственной жизни..." И все это печаталось зарубежными евразийцами в их органе "Евразийская хроника" без всяких комментариев, а лишь с указанием: "нам доставлен нижеследующий документ из Москвы".

К "действию" ОГПУ перешло с 1923 года, создав "легенду", что евразийство "перебросилось" в СССР и нашло, разумеется, благоприятную почву. Через мелких евразийцев чекистам удалось проникнуть и в "мозговой центр" евразийства. Один из таковых евразийцев, гвардии-ротмистр П. Арапов (кстати, родственник ген. П. Н. Врангеля) не раз совершал "тайные" поездки из зарубежья в Москву, чтобы *убедиться на месте в существовании в РСФСР евразийского движения.* И "убедился" так, что в 1926 году на "евразийский съезд" *в Москве* (!), составленный из опытных и культурно подкованных чекистов, из Праги приехал сам лидер евразийцев профессор Петр Николаевич Савицкий. А спустя некоторое время чекист А. Ланговой

(псевдоним?), игравший роль "лидера евразийцев в РСФСР", прибыл уже в Прагу на съезд зарубежных евразийцев. Я не знаю подробностей "развала" евразийского движения. Подробности — в архивах КГБ. Но развал произошел и тот же видный евразиец В.Н. Ильин об этом писал так: "Насколько было блистательно восхождение евразийского солнца, настолько печален был его закат... Это есть падение через шаткость, неустойчивость, которые обнаруживаются либо в самой идее, являясь ее внутренним пороком, либо в силу моральной порочности и беспринципности некоторых ее носителей, взявших на себя 'деловую сторону проблемы' ".

Из евразийства ушли все его "создатели": кн. Н. Трубецкой и другие видные русские ученые. Остались "деловые", просоветски настроенные — кн. Д. Святополк-Мирский, С. Эфрон, П. Арапов и др., неудачно попробовавшие издавать в Париже еженедельник "Евразия". Но чем же кончили даже они? Талантливый литературный критик кн. Д. Святополк-Мирский (кстати, за рубежом вступивший в английскую коммунистическую партию) вернулся из Лондона в РСФСР для того, чтобы погибнуть на Архипелаге ГУЛАГ, С. Эфрона "шлёпнули" на Лубянке, Арапов, говорят, погиб на Соловках.

У зарубежного писателя (второй послевоенной волны) Н.В. Марченко, писавшего под псевдонимом Н. Нароков, в романе "Мнимые величины", есть, на мой взгляд, очень верное определение *сути власти* псевдонимов-большевиков: — "... но не кажется ли вам, что никакой партии, коммунистической партии, уже нет? — А что же есть? — Я бы сказал, что есть орден вроде иезуитов или тамплиеров, но и это будет неправильно. Правильнее сказать — есть *стая*. — Какая стая? — Стая... Стая волков, стая воронов... Орден это сообщество по духу, а стая — сообщество по породе. В стае волков могут быть только волки, не правда ли? Неволк в волчью стаю не пойдет, да его в волчью стаю и не пустят..."

Так, стая, мафия, уничтожила не только "иллюзию примирения" евразийцев, но уничтожила и тех из евразийцев, которые к стае сами пришли. Казалось бы, эти люди *хотели* быть в стае. "Но в стае волков могут быть только волки". Своих волков сам их вожак, Ленин, хорошо называл "рукастыми ком-

мунистами". Вот возвратившихся на поклон к волкам евразийцев и "вывели в расход". Упомяну еще, что в 1952 году в концлагере погиб видный евразиец, блестящий философ и богослов Лев Платонович Карсавин. А во время войны в лапы волков, занявших Прагу, попал и главный лидер евразийцев профессор Петр Николаевич Савицкий, этапированный на Архипелаг ГУЛАГ, где он хлебнул полную чашу "евразийского" горя, но где все-таки писал стихи, которые были даже опубликованы в зарубежье под псевдонимом "Востокова" (конечно, Востокова, а не Западова!). По отбытии им срока, Савицкого вернули в коммунистическую Прагу в образе "доходяги", где он и умер в нужде и болезнях.

Сменовеховцы

Не лучшая судьба ждала и другую "иллюзию примирения" сменовеховцев. В том же 1921 году группа "сменовеховцев" выпустила сборник статей "Смена вех". По своим идеологическим устремлениям эти две группы (евразийцев и сменовеховцев) были разны. Евразийцы шли от славянофилов, в их идеологии момент православия играл большую роль, они были почвенники-распочвенники. Сменовеховцы шли от западничества, но тоже подчеркивали курсивом свой пламенный патриотизм.

В сборнике "Смена вех" были статьи главных лидеров сменовеховства: бывших профессоров-юристов Московского университета — Юрия Вениаминовича Ключникова и Николая Васильевича Устрялова. В гражданскую войну оба были в Сибири членами правительства адмирала А.В. Колчака. Ю.В. Ключников — министр иностранных дел (его специальностью было международное право), а Н.В. Устрялов, — кажется, министр без портфеля (не уверен). Кстати, до Сибири Ю.В. Ключников был активным участником вооруженного антибольшевицкого восстания в Ярославле в 1918 году, но там в лапы волков не попался, а через Казань с отрядом полк. В.О. Каппеля ушел в Сибирь. Кроме Ключникова и Устрялова в сборнике "Смена вех" были статьи — проф. С.С. Лукьянова (сын бывшего обер-прокурора Святейшего Синода), проф. С.

Чахотина (друг Ф.А. Степуна), бывш. известного в России адвоката А. Бобрищева-Пушкина и Ю. Потехина. Отмечу, что на позиции сменовеховства встал также видный эмигрант, бывший ректор Санкт-Петербургского университета, профессор Эрвин Давыдович Гримм, печатавшийся на Балканах в сменовеховской газете "Наша Мысль".

Позиция сменовеховства была такова — оставаясь (как и евразийцы) антикоммунистами сменовеховцы верили, что провозглашенный в 1921 году НЭП есть ликвидация *коммунистической* революции, примирение ком-власти с населением, усиление роли крестьянства в стране, усиление национализма и постепенный переход России к формам правового государства.

Самый блестящий публицист из сменовеховцев (да и вообще блестящий публицист!) проф. Н.В. Устрялов в сборнике "Смена вех" писал: "Коммунизм не удался... дальнейшее продолжение этого опыта в русском масштабе не принесло бы с собой ничего, кроме подтверждения его безнадежности при настоящих условиях, а также неминуемой гибели самих экспериментаторов... Дело в самой системе, доктринерской и утопической при данных условиях... Только в изживании, преодолении коммунизма — залог хозяйственного возрождения государства".

Разумеется, тогдашнее положение в Сов. России отличалось от сегодняшнего как небо от земли: вся земля тогда была в руках крестьянства, это было единственное время в российской истории, когда крестьяне обладали всей землей и были довольны своим положением; рабочие не были прикреплены к фабрикам и заводам, а работали где хотели; в искусстве и литературе была относительная свобода, осуществлявшаяся так называемыми "попутчиками"; наряду с Государственным издательством существовали частные издательства; в хозяйственной жизни была допущена частная инициатива и многим бывшим собственникам возвратили их предприятия и дома; были широко допущены иностранные капиталы (концессии). В Сов. Россию хлынули американский, немецкий, английский капиталы. Среди других американцев бывший губернатор Нью Йорка, а потом и бывший посол в СССР Эверел Гарриман получил тогда в Сов. России интересовавшие его концессии; отдельные концлагеря

существовали, но Архипелага ГУЛАГ еще не было; выезд за границу не был так свободен, как в западных демократиях, но за границу пускали довольно легко.

И если евразийская идеология внутрироссийскому, советскому обывателю была сложновата, то идеи сменовеховства внутри Сов. России разделялись громадным большинством населения. Вот что об этом писали за рубежом бывшие советские граждане. Эмигрант "второй волны" Касьян Прошин (псевдоним Беклемишева) в "Нов. Русс. Слове" в статье "Проповедь изоляционизма" от 26 мая 1950 года писал: "Интересно отметить, что сейчас никто не отстаивает... возможности перерождения большевицкого государства, эволюции его в сторону демократии, то есть, того варианта, в который верили внутри Сов. Союза еще в 20-х годах и вера в который толкала "сменовеховцев" на пересмотр их отношения к советскому режиму". Еще определенней в журнале "Народная Правда" (№ 7-8, май, 1950 г.) писал Георгий Александров, тоже эмигрант "второй волны". В статье "Советская власть и русская интеллигенция" Г. Александров писал: "В конце двадцатых годов под влиянием нэповских полусвобод наступило некоторое примирение между обеими сторонами (советской властью и интеллигенцией, Р.Г.), и в настроениях интеллигенции появились признаки примирения и сближения с властью. Это была эпоха внутреннего "сменовеховства", история искания путей для совместной, по возможности, лояльной работы на благо родной страны и народа. Это было признание советской власти де-факто". А известный эмигрант, но уже "третьей волны", А. Левитин-Краснов в работе "История русской церковной смуты" пишет: "Все претензии Живой Церкви на то, чтобы стать частью советского государственного аппарата, имели какой-то смысл тогда, если люди стояли на позиции сменовеховских идеологов, утверждавших, что Сов. Россия должна будет в ближайшее время переродиться в крепкое национальное буржуазное государство. На это рассчитывали тогда многие, очень многие, как в России, так и за рубежом".

Надо ли говорить, что сменовеховцы "измеряли температуру" тоже "французским термометром": они ставили на Термидор. Но "термометр" оказался трагически неверен. Вот как воспринимал "сменовеховцев" В. И. Ленин. В речи на XI съезде

своей "стаи" Ленин, между прочим, сказал: "Большевики могут говорить, что им нравится, — писал в парижском журнале "Смена вех" профессор Н.В. Устрялов, — а на самом деле это не тактика, а эволюция, внутреннее перерождение, они придут к обычному буржуазному государству. История идет разными путями, — и парируя эту цитату, Ленин продолжал: — Такие вещи, о которых говорит Устрялов, возможны, надо сказать прямо. История знает превращения всех сортов; полагаться на убежденность, преданность и превосходные душевные качества — это вещь в политике совсем несерьезная. Превосходные душевные качества бывают у небольшого количества людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое количество людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо. Много тому бывало примеров, и потому надо сие откровенное заявление сменовеховцев приветствовать. Враг говорит классовую правду, указывая на ту опасность, которая перед нами стоит. Поэтому на этот вопрос надо обратить главное внимание: действительно чья возьмет".

В речи перед "стаей" Ленин завуалированно признавал, что НЭП им введен вовсе не "всерьез и надолго", как он сам *официально* заявлял. Ни перед "крестьянским плетнем", ни перед каким-то "перерождением" своего "разбойничьего государства" Ленин вовсе не собирался "подвинуться". Но это, так сказать, "черный ход", а с "парадного подъезда" те же ленинцы, пуская нужную тогда им дымовую завесу, приветствовали "сменовеховцев". Так, на II-м Всероссийском съезде политкомиссаров в октябре 1921 года Троцкий сообщил, что "нужно, чтобы в каждой губернии был хоть один экземпляр этой книжки "Смена вех". И добавлял: — "Сменовеховцы пришли к советской власти через ворота патриотизма". Почему же эдакий марксист Троцкий вдруг захотел распространения "Смены вех"? Да потому, что на том же съезде "стаи" Ленин сказал: "Сменовеховцы выражают настроения тысяч и десятков тысяч всяких буржуев или советских служащих, участников нашей новой экономической политики".

Теперь-то, из прекрасного далека истории, мы видим, мы понимаем, что головка большевиков все "иллюзии примирения"

встречала бдительно-враждебно, по-гангстерски: *использовать — как можно, а потом — в "штаб Духонина"*. Интересно, как на 12-м съезде "стаи" Иосиф Виссарионович хитро отозвался о сменовеховцах. Коба сказал: "Сменовеховцы хвалят большевиков за восстановление единой и неделимой России".

Но были ли бдительны "сменовеховцы"? Нисколько. Проф. Ю.В. Ключников писал в "Смене вех": "Мистика государства — подлинная и глубокая — не раскрывалась ли она и не раскрывается ли теперь во всем, что создало из России страну Советов, из Москвы — столицу Интернационала, из русского мужика (!!!Р.Г.) — вершителя судеб мировой культуры". А в статье "Patriotica" проф. Н.В. Устрялов писал: "Над Зимним Дворцом вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собой глубочайшую историческую национальную святость, древние куранты играют "Интернационал". Пусть это странно и больно для глаз, для уха, пусть это коробит, но в конце-концов в глубине души невольно рождается вопрос: красное ли знамя безобразит собой Зимний Дворец или напротив Зимний Дворец красит собой красное знамя? "Интернационал" ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота или Спасские ворота Кремлевским веянием влагают новый смысл в "Интернационал"? ... Наши внуки на вопрос, чем велика Россия? — с гордостью скажут: Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной мыслью, Петром Великим и *великой русской революцией"*.

В книге "Под знаменем революции" Устрялов писал, что революция подошла к стадии, когда обнаруживается ее объективный, конечный смысл: под покровом коммунистической идеологии слагается новая буржуазная демократическая Россия с "крепким мужиком" как центральной фигурой. "Мы, сменовеховцы, — писал Устрялов, — хотим, чтобы русский мужичок получил все, что ему полагается от наличной власти".

Уверенность в необратимости НЭПа, в необратимости эволюции страны к правовому строю в некоторых сменовеховцах была так сильна, что Ю. Потехин в "Смене вех" писал: "Народ с беспримерным терпением склонился перед силой большевицкой

власти. Настал момент, когда эта власть должна склониться перед силой народных нужд и всемерно пойти прямо им навстречу; *иначе она будет сметена"*. Увы, сметены прежде всего оказались сменовеховцы, а потом смели и народ — все многомиллионное крестьянство — со всеми его "нуждами".

Как же отнеслась русская политическая эмиграция к евразийцам и сменовеховцам? В подавляющем большинстве резко отрицательно. В особенности, к сменовеховцам, призывавшим к возвращению на родину. И лидеры русского либерализма П. Н. Милюков (левого крыла) и В.А. Маклаков (правого крыла), и лидер русского меньшевизма Ф.И. Дан, и все социалисты-революционеры, все отнеслись к "Смене вех" непримиримо. С критикой евразийцев П.Н. Милюков выступил даже публично в Париже 5-го и 12-го февраля 1927 года. С высоты своей энциклопедической учености Милюков, во-первых, отрицал оригинальность евразийского подхода к истории России, указывая на их прямую связь с славянофилами, Н.Я. Данилевским и К. Леонтьевым, а, во-вторых, резко упрекал евразийцев в "примирении с коммунистической властью" (к которой Милюков был совершенно непримирим), в "приятии большевицкой революции, как высшего проявления народной мудрости", чего Милюков уж никак не признавал и не мог признать. Лидер русского либерализма Павел Николаевич даже обронил тогда некую" элегантную остроту", сказав, что Россию можно, конечно, называть как угодно, если хотите "Евразией", но с таким же основанием можно называть и "Азиопой". Еще резче П.Н. Милюков высказывался о сменовеховцах. Но почти вся политическая эмиграция наклеивала им на спину некий "бубновый туз", что было несправедливо потому, что в своих "иллюзиях примирения" лидеры сменовеховцев были искренни и заплатили за них жизнями. Н.В. Устрялова (как я уже упоминал) в Сов. России в сибирском экспрессе шнуром чекисты удушили под видом грабителей. Вероятно, по личному указанию Кобы. Ю.В. Ключников исчез неизвестно как, хотя после сборника "Смена вех" для "дымовой завесы" наркоминдел Г. Чичерин (по указанию Кремля?) пригласил его как "советника" в состав советской делегации на Генуэзской конференции, что, конечно, было пропагандой и "советской эволюции" и "советского миро-

любия". С.С. Лукьянова чекисты забили на смерть на допросе в Ухт-Печерском концлагере, хотя до этого — тоже для "дымовой завесы" — он был назначен редактором московского французского журнала — "Journal de Moscou".

В 20-х годах, во времена НЭПовских полусвобод, либерал П.Н. Милюков был тверд в своей непримиримости к большевизму. "Смена вех" была немыслима. Но в 40-х, в самую страшную сталинщину, П.Н. Милюков стал нежданным "сменовеховцем", создал собственную "иллюзию примирения". В те же годы и В.А. Маклаков внезапно "сменил вехи", выступив со своей "иллюзией примирения".

В заголовке этого очерка у меня стоит "и др." Эти "и др." были Федор Дан (Гуревич), лидер меньшевиков, в 40-е годы "целиком и полностью" ставший на "советскую платформу", и кое-кто из эс-эров, например, М.Л. Слоним, вступивший в группу под названием (кажется) "утвержденцев", тоже ставших на "советскую платформу". Правда, через несколько лет, когда из Кремля потянуло густым антисемитизмом, М.Л. Слоним возвратился в первобытное эс-эровское состояние. Но все эти "и др." мало интересны, у них не было своих идей. И о них я говорить не буду. Скажу только об "иллюзиях примирения" П.Н. Милюкова и В.А. Маклакова.

П. Н. Милюков

Как и почему лидер русского либерализма, вождь кадетской партии, опытнейший политик и знаменитый историк П.Н. Милюков в разгар всемогущества Иосифа Сталина, в 1942 году, стал "сменовеховцем"? Свою "иллюзию примирения" П.Н. Милюков изложил в большой статье под ударным заглавием (каких никогда не было ни у евразийцев, ни у сменовеховцев!) — "Правда большевизма". Статья была ответом на статью "Правда антибольшевизма" непримиримого антибольшевика ("при всех обстоятельствах"), эс-эра Марка Вениаминовича Вишняка. Вишняк поместил свою статью в "Новом Журнале" № 2. Для зарубежных русских демократов и социалистов-антибольшевиков статья Милюкова оказалась как бы "атомной бомбой" по своей неожиданности и по разрушительности

прежней идеологии П.Н. Милюкова.

Милюков писал: "Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней. Знаю, что это признание близко к учению Лойолы. Но ... что поделаешь? Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение Петра Великого?" Вот куда на старости лет махнул Павел Николаевич, как историк, подкинув Петру Великому Кобу, разбойника с Каджарского шоссе и грабителя Тифлисского Государственного банка. Но П.Н. Милюков, как Наполеон, "существо только политическое" и мыслил всегда в категориях государственности, при чем российская великодержавность всегда была целью его политической деятельности. А тут, в 1942 году, такой оглушивший его гром победы! Милюков так и пишет: "Гром победы раздавайся — этой обличительной цитатой Вишняк сразу хочет дискредитировать своих противников. Что же? Мне тоже приходится цинически повторить: да, гром победы раздавайся!..." И дальше идет не только политический дифирамб лично Кобе, но и оправдание всего ленинского Октября (чего не было ни у евразийцев, ни у сменовеховцев): "Были ли большевики органическим эпизодом русской истории? — задает вопрос Милюков и отвечает: — Ответ зависит от того, признаем ли мы Октябрьскую революцию 1917 года НАСТОЯЩЕЙ революцией в полном смысле этого слова. Французская и английская революции имели такой же (!! Р.Г.) характер и были несмотря (или даже вследствии) на свою разрушительную функцию, признаны не "эпизодами", а органической частью национальной истории. Русская революция пошла дальше в направлении разрушения. Она в корне изменила *старый социальный строй,* уничтожила "классы", перестроила *политическую* структуру, заменила старый государственный строй управлением партийных советов и оборвала моральную традицию, уничтожив старую интеллигенцию и посягнув на старую народную веру. М.В. Вишняк называет все эти перемены "провалами". Но это значит — за разрушительной стороной русской революции не видеть ее творческих достижений. Мало того: это значит игнорировать связь русского революционного творчества (!! Р.Г.) с русским прошлым, связь, которая, собственно, и подтверждает право рассматривать русскую революцию, как "органическую" часть рус-

ской истории. Еще Токвиль указал на подобную связь французской революции с прошлым". Вот он, тот же злосчастный "французский термометр"!

Но дальше — хуже. Милюков пишет: "... Россия давно перестала быть Россией Ленина, но было бы чересчур наивно утверждать, что к этому сводится ВСЯ "государственная мудрость" диктатора. Едва успел умереть Ленин, как Сталин поспешил освободить свои руки от капитальнейшего ленинского тезиса — о необходимости мировой революции (вот как!!! Р.Г.). Он объявил, что в России социализм может быть введен и без ее помощи. Это был первый и радикальнейший шаг в направлении дальнейшей эволюции (!!! Р.Г.). Диктатор, правда, прикрыл свою ересь именем Ленина. Но он не был первым политиком, который скрыл свое нововведение под старым именем, освященным традицией. Сталин умудрился и свою коллективизацию земледелия оправдать цитатами из 28 томов сочинений Ленина. Было бы непростительной наивностью принимать такого рода "ленинизм" всерьез..." Милюков пишет дальше: "... в среде наших союзников распространено опасение социальной революции в случае победы Сталина. Но этому противоречит вся история отношений Сталина к Коминтерну. В осуществимость "мировой революции" в ближайшие годы, действительно, верили все вожди первоначального большевизма, начиная с Ленина. Но после провалов 1919 - 1923 гг. эта вера была потеряна. Я уже упомянул, что тотчас после смерти Ленина Сталин исключил "мировую революцию" из расчетов собственной доктрины..."

В свете всего происшедшего за 37 лет по написании Милюковым "Правды большевизма" и происходящего на наших глазах во всем мире, я думаю, что предсказание наследника Сталина неуча Хрущева — "мы вас угробим!" — гораздо ближе к истине международного положения, чем архи-кабинетные иллюзии знаменитого ученого историка П.Н. Милюкова с его "исключением мировой революции из большевицкой доктрины".

Свою "иллюзию примирения" Милюков обнародовал в 1942 году, когда начались победы на советском фронте, а скончался он в 1943 году 84 лет от роду. За несколько месяцев до смерти Милюков писал одному из друзей: "Сажусь за стол с пером в руке. Хочу что-то написать. Проходит четверть часа, полчаса —

я сижу все так же, и ничего не пишу..." Для политической биографии Милюкова было бы лучше, если б уже в 1942 году он оказался в таком "неписательском" состоянии. Тогда бы и иллюзорная "Правда большевизма" не появилась.

В. А. Маклаков

Столь же политически иллюзорна оказалась "смена вех" другого лидера русских либералов В.А. Маклакова, главы Нансеновского Комитета в Париже. Я знал лично и П.Н. Милюкова и В.А. Маклакова, от обоих в моем архиве есть письма. П.Н. Милюкову кое-чем я лично обязан и до сих пор вспоминаю об этом с благодарностью. В.А. Маклаков отнесся ко мне в Париже очень хорошо. Но говорить о них, как людях, я буду во второй части книги. А сейчас — только об "иллюзиях примирения".

12 февраля 1945 года во главе группы эмигрантов В.А. Маклаков посетил советского посла в Париже — Богомолова. Свидание было заранее условлено. Вот что сказал совпослу, чекисту Богомолову блестящий представитель подлинной русской интеллигенции, в молодости близкий к Льву Толстому, Василий Алексеевич Маклаков: "Я хочу пояснить, почему мы пришли. Эмиграция была разнородна, но сходилась в одном: в враждебном отношении к советской власти. Считала ее главным злом, помнила только вред, который она причинила и ждала, когда она упадет. Примирение с ней она считала изменой и предпочитала здесь вымирать... Действительные события оказались для всех откровением. Мы не предвидели насколько за годы изгнания Россия окрепла... Мы восхищались патриотизмом народа, доблестью войск, искусством вождей. Но должны были признать, что... все это подготовила советская власть, которая управляла Россией... Нужно работать для взаимного понимания и примирения. Эту работу мы делали независимо и будем ее продолжать. Мы вам о ней говорим не для практических целей... Но раз мы признаем советскую власть национальной властью и с нею не боремся, мы хотим, чтоб про нашу работу, которую мы ведем для пользы России, вы непосредственно узнали от нас... И наконец, те, которые думали окончить свои дни в эмиграции и России больше не видеть, счастливы, что воскресения России

дождались и могут лично приветствовать ее в лице ее представителей... Если существуют течения прежней борьбы с советской властью, то это не мы. Мы борьбу прекратили. От тех, кто ее хочет вести, мы отделились. Самого крушения советской власти мы уже не хотим. Мы знаем, чего стоит стране революция и еще новой революции для России не пожелаем. Мы надеемся на дальнейшую эволюцию..."

Что же ответил подлинному представителю русской интеллигенции В.А. Маклакову совпосол, чекист Богомолов? Он ответил ему так, как и должен был ответить и как только и мог ответить чиновник-чекист. Сначала он выразил "некоторое недоверие" к эмиграции. А потом сказал: *"Мы должны к вам присмотреться, вас изучить, убедиться в вашей искренности".* И закончил эту чекистскую казенщину предложением всем пришедшим выпить с ним за советский народ, за красную армию и лично за генералиссимуса Сталина. Ничего не поделаешь, пришедшие выпили с Богомоловым за генералиссимуса!

Истины ради надо сказать, что В.А. Маклаков очень скоро понял ошибку своего "хождения в Каноссу". Но об этом — во второй части книги, когда я буду говорить о "России во Франции".

(Продолжение следует)

South Jamesport *Роман Гуль*

Дальше в "Я унес Россию" пойдут подглавки: — "В газете 'Накануне' ", "Б.В. Дюшен", "Рената из 'Огненного Ангела' ", "Моя жена Ольга Андреевна", "Дружба с Конст. Фединым", "Л. Сейфуллина, Ю. Тынянов, Н. Никитин, И. Груздев, Б. Пильняк — в Берлине" и др. *Р.Г.*

24 ИЮЛЯ 1979 ГОДА

Прихода Раннита я ждать уже не смел:
Закончился конгресс писателей в отеле,
Где на террасе мы недолго посидели —
И только раз ко мне заехать он успел.

Я свой безрадостный оплакивал удел:
Давно участники взвились и улетели,
А только-что, живой и не в астральном теле
Поэт Эстонии обратно прилетел!

Течет его рассказ о старом Ouro Preto,
О церкви, "пляшущей" на возвышеньи где-то,
И вдруг, его перо, забытое в руке,

Взвивается стрелой из вычурного лука,
И опускается — и пишет на клочке:
"Барокко. Грация. Бразилия. Разлука."

АЛЕКСИСУ РАННИТУ

Мне часто делали роскошные подарки
И мать, и бабушки, и вся моя родня:
Предметы гордости — льняная простыня,
Часы швейцарские, портфели, книги, марки.

Пройдем в столовую. Серебряные чарки
Гостей порадуют (а с ними и меня) —
И, краски сочные таинственно храня,
Стенная вышивка — бессонный труд болгарки.

А вот — подобное оценит ли толпа? —
Бумага писчая, и целая стопа:
Дар символический эстонского поэта

Поэту русскому. Растроганный поэт,
Я, проворочавшись до утреннего света,
На первом листике пишу ему сонет!

Валерий Перелешин

ПИСЬМА В. РОЗАНОВА К А. ИЗМАИЛОВУ

(1909 — 1918 г.г.)

7.VI.1909. — Ей-ей мои книжки (кроме "Легенды") до сих пор все не шли.

24.VIII.1909. — Вы знаете, что я евреев почти люблю и никак от русских не отделяю: но единичные из евреев, "уже не евреи", интеллигент — Пропер, богач — Пропер, либерал — Пропер, чуть ли не приват-доцент, Пропер — мне совершенно и единственное в литературе лицо — не переносим. Что-то уж слишком характерное и яркое около "грехов" литературы, которые есть или выпукло начинаются.

Эти бедные селенья и проч. (из Тютчева) окончательно вытоптаны, изглажены или изгажены "ими", "такими" и м.б.(оттого и грустно) и "нами грешными".

... Мне это [рассказы о ком-то — Д.П.] показалось картиннее "Соборян" Лескова (коих впрочем я не читал — между нами).

30.VIII. 911. В течение вот уже долгой литературной деятельности я замечал не только часто, но постоянно, что как только в печати скажешь что-нибудь насмешливое, презирающее, негодующее и, словом, скажешь к разрушению — так это всеми, всею печатью, подхватывается, превозносится, хвалится и, в конце концов, действует... Если же что-нибудь скажешь с любовью, с уважением и, словом, — *к созиданию,* то как бы это ни было

Мы печатаем письма В.В. Розанова к А.А. Измайлову из архива А. Аронсона, за что приносим ему благодарность. Публикация и примечания проф. Д. Перчонка. См. книги "Н.Ж." 130, 134. РЕД.

сказано — это не получает никакого значения, силы, не помнится, не читается, не запоминается, *не нужно*. И, видя это, — я возненавидел литературу. Печально с этим жить и еще печальнее умирать.

[Без даты] Книжки мои никогда не имели успеха, а только "почтительное признание". Шуба красивая, но не теплая... От книги лег долг на меня в 950 р. и надо их в два года выцарапать. [Кажется о "Темн. лике" — Д.П.]

[Без даты]. Критика есть "разбор", а мы читаем только "исповедания"... *Сам* я поэтому есть вовсе не критик. Соглашаюсь — "умный" и "интересный" писатель, но — не критик. И всегда, когда я сажусь за "критику", то просто не знаю, что делать: сознаю, что нужно "разбирать", и чувствую, что могу только "проповедать". Это и мучительно и отвратительно... Я одиночка. И уже так пожилой, что очевидно одиночкой и умру. Ведь книги мои "ползут" и буквально почти не расходятся. А их много, и, кажется, содержательны. Между тем, по тем, по другим, по десятым признакам я вижу, что собственно *литераторами* они прочтены. Иногда цитируют, *не ошибаясь,* десять лет назад сказанные мною фразы. Что же это значит? Я какой-то *писатель для писателей,* а не для публики. Что это за явление, не постигаю. Литература — знает меня, общество — ни-ни! Не понимаю. Но грустно.

[Без даты] На учительство определен с 1 июля 1882 г. — 1-й труд печатный вышел к 10-му авг. 1886 г. ("О понимании").

В моих теориях пола то доброе, что они меня (всю душу подвинули) сделали удивительно добрым, ласковым, активно ласковым, и внимательным к Кл. [одине = жене А. Измайлова. — Дм. П.] и вообще ко всем любвям, которые я все люблю как собственные, мне все они милы, приятны, благородны, — хотя это не "я" и "не со мною" и это я считаю правильной точкой зрения, которая, если бы распространилась, то много бы горя и слез утерла.

[Без даты] Не откажитесь мне сейчас же сообщить *адрес и телефон* господина, у которого, — Вы сообщали, — очень много греческих древних монет. Теперь выпадет дней десять полегче, и я бы с удовольствием поехал в них покопаться.

[Без даты] Друг Саша: будем старыми семинарами из

Вологды, из Костромы, и не побежим за жидовскою нечистью, которая облепила литературу в виде анонсов, анкет и всякой нечисти. ... Чувствуя, что время скоро подыхать, заворачиваю оглобли к попам. Они будут отпевать. И как Вы меня переживете, то вот просьба (на случай): чтобы не вынос, ни проводов (особенно литературные, а чтобы все тихо, безмолвно и уединенно и чтобы ни одной речи на могиле: выскочу из могилы и буду драться).

А чтобы дроги и плохенький гробик, и плетутся сзади две-три старушки да мои детишки, да хоть Вы, но при условии сокрытия, что Вы — литератор. Так "все по-русски". Ну ее к черту иноземшину! Мечта, чтобы схоронили в Ельце, где найдя вторую жену нашел счастье и *путь*. Противен Петербург: и ради Бога "не в углу литераторов" на Волковом: холера у мертвеца сделается.

Прощай, Саша. В моей душе и для *глаза моего* ты тем дорог, что один из последних литераторов. За это я бы тебе дал трех любовниц (яко Иакову, все-таки *за это* люблю жидов, что у них по три... вместо обычных двух).

Кстати: ужасно мне понравилась твоя живая и какая-то вдумчивая Клодина и если она не оскорбится, а паче ее не оскорбишься ты, я при следующей встрече поймаю ее, она будет хохотать и сердиться, и я все-таки ее расцелую в обе щечки, в глаза и в губы. Ну, теперь плюйся.

(В одном из предыдущих писем Р. "кается", что просил Клодину поцеловать его, — та отказалась. "Я даже ахнул в душе". "Очень извиняюсь, что хотел поцеловать Клодину. Но я не виноват, что она хороша".)

[Без даты. Вероятно конец 1917 или же 1918 г., п.ч. след. письмо помечено 1918 г.] Одни жиды, одни жиды, одни жиды!! О, как я поверил, как я теперь верю в Бога их Бессмертного — Помогающего. Вечно живого. Когда наш — так Мертв. 2000 терпели, страдали. Все перенесли. И вот — *их* Б. оправдался. О, как оправдался!!! Непременно приму обрезание. Никакого — крещения. Это водица, ха, ха, ха...

Помогайте. Всё забудьте. Себя забудьте. Одна мысль — сотрудничать у Пропера, у действительно великого Пропера, забыв

всех этих прощалыг Суворинных.

Отчаяние. Бегите, помогайте. *Утишенный*

Розанов

Нет, не алжирский лев, перед Вами умирающий от перепуга, а собака без папиросы ("одно утешение", один дух утешитель) и хватает собака за штаны доброго милого Ал. Алекс. [Измайлова. Д.М.]: — Что же, что Академия и Фонд, "старые верные казенные учреждения", тоже выдали, тоже предали Розанова: ни копейки не выслали.

Молите, просите. Немедленно пишите. Что же не выслали?

[29. 7. 918] Саша, милый! Не дай погибнуть. Дай *писать*. Передовые без подписи. Лучше всего *скрой фамилию*. Не надо ее, окаянной, причины всех моих проклинаний. *Сделай личную дружбу,* объяви сотрудникам хоть фамилию *Сергеев, Иван Алексеевич,* из товарищей по Академии, и который нуждается в заработке. Я буду тебе оставлять статьи в редакции.

[Без даты. Вероятно 1918] А от меня, кроме одного Флоренского и С. И. Дурилина, отвернулись, т.е. перестали вовсе здороваться, все "московские славянофилы" из-за "Апокал". [...] Хотелось бы Проперу передать поклон [...] Теперь ведь они, жиды, мне родные.

Пишу совсем впотьмах. Ни керосина, ни свечи.

[Без даты. Между 29. VII и 3. VIII 1918?]. Я уверен был, что это *никому не известно* — о распоряжении, посланном мною месяца четыре тому назад на имя управляющего кн. магаз. и кн. складом "Нов. Вр." г-на Сосницкого [1919-1920 гг. Д.П.], моего приятеля и друга, — об уничтожении *всех моих книг враждебных против евреев и написанных в связи с процес. Бейлиса* (до тех же пор, Вы знаете, я не был враждебен евреям) [...] У меня окончательно созрела мысль, созрел план, созрели доводы пересмотреть еще раз спор между юдаизмом и христианством. Сосницкому я написал очень мотивирован., очень длин. письмо о всей той ерунде и вздоре, какая лежит какою-то прямо *магич. подпочвою,* я думаю — *христовою подпочвою* под всею этою ненавистью, какая, увы, пропитывает один только христианск. мир, одни только несчастн. христианские души в отношении евреев. О, какие это несчаст. души, действительно запутавшиеся в грехе, *ноуменально* (по Канту) запутавшиеся в грехе [Дальше

намеки на то, что "вместо Единого Творца и Вседержителя", долженствующего быть *"первым и последним"* явился в образе Христа... Антихрист? — Это неясно. Д.П.] Я и заметил: *космические причины* человеческ. *исторических перемен.* И тогда все сразу объяснилось. До того просто и до того очевидно. Все — разбивается. Вся наша история... Увы, христианская европейская история.

Действительно, действительно времена Апок-са. Они пришли, они — вот... Господи! Ну, все это я разжую. Иуда — действит. прав. Моисей действит. основателен и весь основателен. Уже с 8-9 вып. появится прямо страшное чтение и у меня [...] "Апок." должен бы печататься как в эпоху Реформации и Ульриха фон-Гуттена 500.000 экземпляров — и тогда он должен бы и он смог бы, сможет религ. переворот (потому что сказать "церковный" это МАЛО). [...] Я переехал в Серг. Посад Моск. губ. [сообщение о задержании 6-7 вып. Д.П.]

[...] Все это письмо можете опубликовать, Ал-др Алексеевич, как равно и перепечатать, все бы лучше *как бывало делалось* с "видными людьми" *сразу,* т.е. *однодневно* в газетах Вашей и у Пропера... Яйца теперь *9 руб. десяток,* мясо есть свежее, прекрасное 8 руб. фунт. Родной мой, *поезжайте к Проперу.* Поезжайте, поезжайте *сейчас.* Выпросите у него, у жены его, у дочери — 2 ф. кофейца, 2 ф. цикорию, 4 ф. сахара, 1 ф. какао (безумно хочется какао). Господи: — ведь я могу и мяса попробовать, и яичек купить теперь: что ему стоит, целому Проперу

ПРОПЕРУ

выслать Розанову целую тысячу рублей аванса в счет будущ. сотрудничества в *"Бирж. Вед.", для него никак. препятствий нет* в виду целого апокалиптич. переворота *прежде всего совершающегося-то в моей душе.* М.б. именно — "судьба". Саша, поезжай! Клодина, уговори своего чернокудрого Александра.

Милый Саша: пусть в мудром уме своем Пропер сам "обдумает меня", я ему совершенно, вполне доверяю. Господи: как я теперь ценю и иначе совсем оцениваю евреев, сколько в них интимного, теплого, лучшего, чем эти парикмахеры-греки и эти "грузовики-автомобили" римляне.

Это письмо, я верю, историческое. Его сказало небо. С него

начинается реформация. Ты, Саша — Ульрих фон Гуттен, я — Лютер. Поезжай, поезж., поезж., к Проперу, чувствую — спасен Розанов.

Проверь, чтобы в магаз. "Нов. Вр." и складах *были действит.* уничтожены, т.е. реально и на глазах все четыре книги против евреев [1) "Обон. и осяз. отн.", 2) Европа и евреи, 3) Ангел Иеговы, 4) В соседстве Содома]

[3 авг. 1918] Пишу почти в темноте, — ни свеч, ни керосина. Увы, и мыла — чуть, чуть.

[7. VIII. 918] Я не понимаю: евреи, или не понимают себя, или забыли свою историю, или слишком развращены русскими. Иначе ведь они должны бы, уже со статьей в "Нов. Пути", — обнять мои ноги. Я же *чистосердечно* себя считаю ... почти не "русским писателем", но настоящим и воистину последним еврейским пророком [из писем конца августа 1918 г. видно, что ему оказали помощь Н. Котляревский и С. Венгеров. Д.П.]

25. XI. 918 [Последнее письмо] Сытин, Цетлин, Брокгауз. И мечта издать "Полное Собр. сочин. Р-ва" была бы чудесна и избавила бы, выкупила и искупила, в этот ужасный год!!! За ценою полистного особенно не гонитесь. Ведь у меня "Opera omnia" не менее 50 огромных томов. Из них "Опавш. листьев" новых не менее как томов на 8-10, *оконченный* уже "Апок.", выпусков 50, и из "Восточн. мотивов" — тоже уже окончено в тексте.

ПИСЬМА И. БУНИНА К Б. ЗАЙЦЕВУ

ПУБЛИКАЦИЯ А. ЗВЕЕРСА

16. XI. 38

Дорогой мой ясновельможный пан[1], спасибо за все! Рогнеду написал, поблагодарил.

Андреев все таки был большой талант. Но почти все нестерпимо выходит у него. А на некоторые вещи даже дивишься: самая лубочная, смехотворно-трагическая декламация.

Целую тебя и Веру от всей души. Я был в запале писать — и вдруг сел: чуть не месяц кровь — и все пошло к черту, очень ослабел.

Дорогой Борис, *очень* благодарю за письмо о "Позднем часе".[1].

Надеюсь скоро увидать тебя и Веру.

Целую Вас сердечно.

Твой Ив. Катышкин

---

1. Бунин часто дразнил Зайцева, что он "ясновельможный пан", из-за того, что бабушка Б.К. была полька.

1. Бунин окончил этот рассказ из цикла *Темные аллеи* 19 окт. 1938-го г.

---

18. XII. 38

Ничего, папочка, опечатки не важны, читаю с большим удо-

Продолжение. См. Н.Ж. 134.

вольствием — и с грустью: как все это далеко! Надписывая тебе "Лику", описался — треугольный вместо остроугольный.

Обнимаю. Ив. Б.

Дорогой, *чрезвычайно* тебя просим обедать с нами (Алданов, Фондаминский, Цетлин, Ходасевич и я) во *вторник* (после завтра) — иного дня нельзя выбрать. Сбор у меня, в 7½ часов вечера.

Воскресенье

Целую Твой Ив. Бун.

Понедельник[1]

Борисоглеб! Завтра (вторник 2 мая) я, М.О. Цетлин и Марко Богатый идем холостой компанией кутить-обедать. Очень, очень хотим тебя. Сбор у меня, в 7½ ч. вечера (без опоздания!). Затем мы отправимся в только что открывшийся кабачок, русский, возле метро Javel, называется "Chez nous". Хозяйка — моя знакомая, красавица. Я у нее уже был — задохнется от счастья видеть нас. Цены — суди по тому, что prix fixe там 10 франков (десять!), "vin compris, pain a discretion".

Ждем. Целую.

Твой Ив.

1. 2 мая 1939 г.

Дорогие, как живете-можете? Я приехал сюда, долго хворал, только теперь поправляюсь. С радостью читал о твоих успехах, братишка, дай тебе Бог. Целую Вас обоих, прошу написать.

Будете ли где-нибудь вне Парижа летом?

Grasse, 17. VI. 39

Ваш Ив. Б.

Получил твое письмо, дорогой старушек, благодарю, целую и извещаю, что отныне я буду звать тебя именно так: старушек (staruszek). Хоть ты и поляк, а, верно не знаешь, что по-польски это значит *старик* — честное слово. А множественное число — staruszki (старушки) — это вы с Верой.

25. VI. 39

Твой Ив.

Милые, дорогие staruszki, простите за поздний ответ — нахожусь в каком-то безволии и в грустях, писать, чувствую, еще не могу, езжу купаться, читаю всякую ерунду ... Надеялся писать в сентябре, в октябре, как вдруг удар: надо отсюда выбираться 30 сентября — Belvedere сдан с 1го октября кому-то *на несколько лет!* Alors, пожалуйте в Париж, а Вы знаете, что в Париже я не писатель ...

Рад за тебя, дорогой, что кончил "Глеба"[1], одолел (и как хорошо!), но что же ты дальше будешь делать? Без работы — беда! Дай Бог, чтобы ты начал что-нибудь новое.

Вполне согласен с тобой на счет поминальных статей. Избавь Бог, до чего договариваются!

Хоть солнечно, а все холодный ветер и ночи холодные — чего ж тебе бояться жары в Арле, в Авиньоне? Покатайтесь, если есть охота и деньжонки. А у меня их нет — велика семья! — и посему куда ж я поеду? Нет, милые, буду сидеть дома.

Храни Вас Бог, целую Вас крепко.

8. VIII. 39 Ваш Ив. Б.

1. По всей вероятности Бунин здесь ссылается на вторую книгу автобиографической тетралогии Зайцева, *Тишина,* которую автор окончил в 1939 г.

18. IX. 39

Дорогой Друг, письма твои (замечательно интересные) от 2-го и 10, 11 давно получил — прости, что не ответил во время — нечего сказать, живем на редкость однообразно: солнце, солнце и вид с горы до островов возле Cannes, а налево почти до Италии — и грусть, грусть. Поцелуй Наташу и Андрея, храни всех, всех Бог. Читаю, читаю — м. пр. Сенкевича — ах, ах, ах! — ты прав. Писать — ни строки не могу, чего-то жду. А ты? Почему прекратились "Дни"?[1] Целую тебя и Веру очень любовно. Пришлю тебе сонеты Мицкевича в том переводе.

Твой Ив. Б.

1. "Дни" — ряд литературных набросков на злобу дня, написанных Зайцевым.

Дорогие, милые, давно нет от Вас вестей — и в какое время! Напишите. Да хранит Вас Бог. Мы остаемся в Грассе — куда же больше! 25 или 26 сент. переезжаем на новую дачу — Villa Jeanette, Route Napoleon, Grasse, A.M. Где Наташа, Андрей? Целую Вас всех с самой горячей любовью.

21. IX. 39 Ваш Ив.

Мои дорогие[1], Островский не прав, говорят так: "От думы вошь на человека кидается". И я так много и так горько думаю, что не худобы боюсь, а вшей. Как живем — Вы представляете. Прошлая зима, такая грустная и одинокая для меня, кажется теперь уже счастьем. Читаю твои прекрасные дни, Борис. Читаю "Данте" Мережковского. Какой схоласт, словоблуд, мать его так! Сейчас сижу в Ницце, в ресторане.

Пусто, солнечно, мучительное спокойствие осени. Пропадаю, милые. Перечитал на днях "Смерть Ив. Ильича". Разочарование. Нет, не то! Не в том дело, что как-то "не так жил".

Целую Вас сердечно. Ваш Ив. Бунин

1. Почтовый штемпель: 20. X. 39

Jean de Bounine
Villa Jeanette, Grasse, A.M.
2. XI. 39.

Дорогой Борис, говорят,
что Зеелера[1] нет в Париже, — только наезжает. Как же нам (Jean de Bounine, Vera de Bounine и Mme Galina Kouznetzoff) быть с переменой cartes d'id.? В них написано, что мы — homme de lettres et femmes de lettres, но ведь нужно удостоверение (новое) от союза Журналистов, что мы именно такого звания. Похлопочи, дорогой, чтобы нам прислали.

Целуем Вас всех. Твой Ив. Б.

Они наконец приехали, живут как в отеле.

1. В.Ф. Зеелер — секретарь парижского Союза писателей и журналистов.

12. XII. 39

Вот тебе, дорогой поляк, портрет, который тебе, верно неизвестен и который мне очень нравится. Я нашел его в очень старом английском журнале. За целый последний месяц только вчера было мрачно, холодно, шел дождь и в горах и в долинах клубились такие свинцово-белые туманы, точно шло какое-то страшное сотворение мира. А то все солнце и солнце, и я непрерывно томился тайным желанием куда-то ехать, кого-то встретить — и вместе с тем чувством, что нигде ничего и никого не встретишь, — давно, давно знакомым чувством, — и потому по целым дням все читал да читал, — как уже давным давно только это и делаю. А читаю я все старые книги, больше всего старые журналы — 50-х, 60-х, 70-х годов — из библиотеки при старой ниццской церкви (где, к дикому своему изумлению, внезапно наткнулся на Павла Николаевича Цакни, брата моей первой жены[1], которого я не видал лет сто с Одессы, и который оказался теперь уже не бебой гимназистом, а старичком, живущим *на 100* фр. в месяц, кои он получает за заведование этой библиотекой, очень милым, очень неглупым — и оборванным и грязным так, как может быть оборван какой-нибудь из тех нищих, что по ночам бродили по Парижу с фонариком, выбирая всякую мерзость из ордюрных ящиков). Вчера и нынче я читал в "Русском Вестнике" за 67-й год как раз Тургенева — уж не знаю, в который раз, перечитывал "Дым" и на этот раз *особенно* скорбел, до чего это просто невозможно читать теперь (за исключением одной трети) — пуще всего начало, с этими Биндасовыми, Пищалкиными, Суханчиковыми и *Ратмировыми!* Подумай только *Ратмиров!*

Целую тебя и Веру, жду вестей от тебя. Пишешь ли что-нибудь новое, большое? Мне хотелось бы засесть за что-нибудь большое (т.е. длинное) ужасно.

Твой Ив.

---

1. Анна Николаевна Цакни, на которой Бунин женился в 1898 г. Она была на 8 лет моложе Бунина.

Villa Jeanette
Grasse, A.M.
3. I. 40

Дорогие мои, с праздником, с Новым годом и Вас! (Почему ты Вера[1], называешь меня "Ив. А." в письме к Г.[2]? за что?) Письмо твое, Борис, от 29-го, — получил. На Синае я не был — только видал его издали. Поблагодари о. Киприана[3] за доброе слово о "Позднем Часе". У нас снег, туман, в доме мука от холода, мы все перехворали, я вторую неделю кашляю до слез, особенно по ночам. Получил от какой-то "группы русской молодежи" письмо — обкладывают чуть не матерно за "гнусное письмо" наше в "Последних Новостях".[4].

Целую

1. Вера Алексеевна, жена Зайцева.
2. Галина Кузнецова.
3. Архимадрит Киприан Керн; см.: Б. Зайцев, "Архимандрит Киприан" в книге *Далекое* (1965).
4. Т.е. за статью "Протест против вторжения в Финляндию". *Последние Новости* 31 декабря 1939 г. Статья подписана З. Гиппиус, Н. Тэффи, Н. Бердяевым, Ив. Буниным, Б. Зайцевым, М. Алдановым, Дм. Мережковским, А. Ремизовым, С. Рахманиновым, В. Сириным.

Cannes, 10. VI. 40

Мой дорогой, милый, получили твое письмо. Ничего не скажу — ты представляешь себе мои чувства. Целую Вас обоих с самой большой нежностью. Да хранит Вас Матерь Божия. Пишу в Cannes на почте (несказанным пером), искал по всему городу чемоданишко — тщетно! Ужели остаетесь в Париже? Летом, в жару?

Твой Ив. Б.

Exp. J. Bounine
Chez Mr. Graysnow
Lafrançaise
Tarn et Garonne
5. VII. 1940

Дорогие, милые, где Вы и как вас Бог хранит? Мы почти 3 недели как все покинули Grasse, находимся в городишке Lafrançaise (возле Montauban, верст 70 выше Тулузы по направлению к Бордо). Что пережили (и переживаем) и рассказать невозможно. Надеемся на днях быть выпущенными назад в Grasse. Отзовитесь, напишите туда.

Целуем Вас и Наташу (не знаем, где Андрей[1]) с великой любовью.

Ив. Б.

1. А. В. Соллогуб.

Grasse, A.M.
22. VII. 40

Милые и дорогие, получил нынче Ваши письма, — Верино и твою открытку, Борис. Мы здесь уже 12 дней. До сих пор не могу опомниться от всего, что случилось, — и от нашей страшной и идиотской поездки, помимо всего прочего совсем разорившей меня — я теперь нищий, ибо и все отстатки моих "капиталов" погибли — Андрей знает, где Цетлины в Cannes. Марк[1] с своим табором основался в Ницце. Счастливы, что Вы живы и здоровы.

Целуем и ждем еще писем.

1. Марк Александрович Алданов.

17. V. 43

Милая Вера[1], посылаю тебе несколько своих стихов, чтобы ты знала, что я еще не совсем забросил "лиру": я за последние два года написал целую книжечку их, которая будет когда-ни-

будь напечатана под таким заглавием: "Письма дяди Вани Бунина Олечке Жировой".[2] Вот, например, она как-то спрашивала меня: "Милый Ванюша, напиши мне, как ты пировал на именинах у своих друзей Самойловых, пил ли ты водку, настойку и вино и какое было меню у вас?" И я ответил ей так:

Милая Олечка!
У моих друзей пируя,
Ел змеиную икру я,
Пил настойку из клопов
И вино из бураков.
Остальное тоже было
Очень вкусно, очень мило:
Суп из наба, фарш из блох
И на жареное — мох.
А потом нам подавали
Карамель из мух в крахмале,
Чай Пи-пи и торт Ка-ка
Из Кондитерской в Восса.

(Надеюсь, что этими стихами, Вера, воспользуется будущий историк "Новой Европы").

Помнишь ли ты эту Олечку, дочку Ляли, что очень часто бывала у нас в Париже с Рощиным[3], потом жила с Олечкой у нас на юге, а потом у мужа[4] на его ферме под Монтобаном? Житье на этой ферме было нищее, ужасное, а все-таки у Олечки были кролики, цыплята, куры, утки, котята, кошки, и я писал ей:

Дорогая Олечка,
Подари мне кроличка
И пришли в наш дом
Заказным письмом.
Я его затем
Вместе с Верой съем,
Ушки пополам
Марге с Галей дам,
А для прочих всех —
Лапки, хвост и мех.

Я писал ей поздравленья с днем рожденья, на именины:

На весь день я бросил чтенье,
Сижу песенку пою:

"Поздравляю с днем рожденья
Олю милую мою!
Ах, ах, ахахах.
Олю милую мою!"

В именины нашей Оли
Все цветы запляшут в поле,
Все деревья и кусты,
Все дороги и мосты.
А на ферме — все цыплята,
Куры, кролики, котята,
Кошки, утки — и сама
С папой под руку мама́!

Ляля приучила Олечку отца называть папой, а ее не мамой, а мама́.

Иногда Олечка подолгу не писала мне и я писал ей так:

С постели рано я вскочил —
Письмо от Оли получил!
Я не читал и не молчал,
А целый день скакал, кричал:
"Как наша Оля подросла —
Переросла она осла,
А ведь не маленький осел —
Он ростом выше, чем козел.
Потом, смотрите, как умна,
Как образована она!
Наверно, очень хорошо
Сдала экзамен на башо
У кур и кроликов своих,
Когда из рук кормила их!"
Но оказалось, что во сне
Вся эта глупость снилась мне,
Что я письма не получал
И не скакал и не кричал, —
И так обиделся я вдруг,
Что поседел и весь распух.

Иногда я грозил ей, когда она долго не писала:

Вот что я тебе скажу:
Я в полицию схожу...

Целую тебя, дорогая моя. Борису пишу отдельно.

Твой Ив.[5]

P.P.S. Получил ли о. Киприан мое письмо? Писал я и Нине недели 2 тому назад.

1. "Вера" — это моя жена, приписано почерком Зайцева.
2. См. письмо от 3. VIII. 38.
3. Н.Я. Рощин уехал в СССР.
4. Алексей Матвеевич Жиров.
5. P.S. не печатается.

17. V. 43

Дорогой, милый Борис, уже давно получил твое чудесное и полное такой прекрасной грусти письмо, растроган был им до слез, — прости, что так поздно отвечаю: отложил ответ, чтобы написать тебе как-нибудь получше, а уж ты знаешь, что из этого почти всегда выходит. А потом — все слабость, слабость, грусть бесконечных воспоминаний, безволие... И кто это выдумал, будто воспоминания о счастливых днях — радость! Нет ничего мучительней! И вот, от слабости и от этой грусти, посидишь, посидишь за письменным столом, выкуришь несколько окурков — и поплетешься к дивану с какой-нибудь уже много раз читанной книжкой (новых-то ведь нету). Вот так и проходят дни, да еще как скоро — не успеешь оглянуться, уж и зима или весна прошла! А главное — дней-то осталось мне страшно мало, и вечная мысль об этом просто сокрушает меня. Верить в загробную жизнь я, как ты знаешь, никак не могу, да если бы и верил, разве утешило бы это меня в близкой разлуке с землей! — Впрочем, помолчу лучше...

Беспокоились мы о Вас в те дни ужасно, счастливы были, что Бог Вас спас, бесконечно. Беспокоимся и теперь — лучше бы уехать Вам совсем из Парижа. Подумай об этом, дорогой, подумай.

Рад, что ты занят Данте. Может быть, Бог даст, осенью послушаю тебя — очень мечтаю переехать осенью в Париж —

е.б.ж. (если буду жив) — тут прямо под нами все роют окопы и т.д. Целую. Твой Ив.

P.S. Вместе с этим посылаю твоей Вере большое письмо со стихами.

2. 8. 43

Дорогой, милый Борисоглеб, со днем Ангела! Обнимаю тебя с неизменной и крепкой любовью, прошу Бога, чтобы Он хранил тебя в силе и благополучии еще много лет. Родная моя Верочка, и тебя поздравляю и тебе желаю того же. Передайте мои наилучшие чувства дорогому Василию Борисовичу[1] и горячо любимому Отцу Киприану.

Я живу по-прежнему — грустно и как-то с трудом. Одна радость — жара и красота.

Ваш Ив.

1. Ельяшевичу, в доме которого Зайцевы тогда жили.

8. X. 1943

Милый Борис, какие странные строки читаешь иногда! "Это была бедная студентская комната, обитатель которой довольствовался куском колбасы, куском сыру да чаем с булкой да трубкой да картузом с табаком..."

Ведь были же такие несчастные! И заходил иногда такой несчастный в трактирное заведение и выпивал "для куражу" стакан столовой водки или "Ерофеича"...

Мертвые, тихие, сумрачные сумерки, нигде ни огонька. И мне так скучно, что впору на ж. сесть и завыть. Твой Ив.

Был нынче во сне на вокзале в Праге: без тикета дали только один бутерброд с ветчиной, хотя огромный.

12. IX. 43

Милые, дорогие наши, очень беспокоились, даже мучились за Вас, спасибо Капитан[1] написал, что Бог Вас сохранил[2]. А сами Вы — как же Вам не грех не посылать нам немедленно в таких

случаях хоть одно единственное слово на открытке! Несколько дней тому назад послал Вам несколько слов все по тому же поводу, а вы все еще молчите!

Мой дорогой "старушек", мне очень трудно писать, избегаю — что-то у меня с правым локтем, боюсь нажимать на него — вот почему и не ответил тотчас же на твое очень, очень тронувшее меня письмо. Очень благодарю тебя — хоть все это уже в прошлом для меня, как мне кажется, — может быть, от слабости телесной да и душевной, в которую я что-то все больше впадаю, — но все-таки было радостно: — хоть чуть не один ты у меня такой читатель, который каждое словечко понимает, а все-таки не совсем, значит, даром писалось. И уж позволь просить, чтобы ты меня еще немножко похвалил (про себя, мысленно): ведь весь этот Арсенич сплошь выдуман, — никакого такого, даже подобного я никогда не видал, — как выдумано девять десятых всего мною написанного.

Очень жалею, что не поздравил во время Наташеньку — я ее очень люблю, скажи ей это (хоть она давно это знает).

Говорил со мной в полусне? Очень рад, что, на столько понимаю, довольно в лад. Кстати, не думаю, что это признак старости, эти мнимые разговоры. Я их знаю давно, испытывал и в довольно молодые годы. Все-таки ради Бога бросьте Вы вашу улицу!

Обнимаю Вас от всей души.

Ваш Ив.

---

1. Н. Я. Рошин.

2. В начале сентября была бомбардировка Парижа. Б. Зайцев в это время был у дочери, а его жена в Париже.

---

28. IX. 43

Милая, дорогая Вера, с Ангелом! Борис, Наташенька, с именинницей! Целую Вас всех даже с некоторой старческой слезой!

Борис, прости, что в такие дни пишу о пустяках. Но, увы, должен сказать словами Петрарки в его старости: "сочиненьица мои еще занимают меня": посему умоляю тебя даже не заглядывать в этот вечный позор мой — в издание "Нивы" моих "сочиненьиц".

Ваш Иван

P.S. Вера написала тебе, Вера, поздравительное письмо и на базаре потеряла. Пишет снова. Привет Андрею!

8. XI. 43

Дорогой Борис, спасибо тебе за твои заботы обо мне, очень тронут тобой — ведь это ты, конечно, подсунул меня этому молодому издателю.[1] Думаю, что из этого ничего не выйдет, ведь ты сам не очень веришь в него, — тем более, что *романа* у меня нет, а рассказы издателей мало интересуют. Но *на всякий случай* все-таки послал тебе маленький роман, слишком маленький для отдельного издания, хотя думаю так: если издатель заинтересуется и издание будет мало-мальски путное, а главное, не жульническое и кое-что заплатит *вперед,* то ведь можно и этому маленькому роману, под обложкой: Nathalie, roman[2] приставить несколько рассказов, тоже любовных, из них 25, что написаны мною за последнее время в моем "заальпийском уединении" (Петрарки сном!). Я завтра пошлю их тебе несколько штук (из наиболее эротически терпимых современной французской цензурой). Пошлю опять по-французски, но через день-другой и по-русски: ты по-французски не читай, выходит в переводе, да еще и не важном, гораздо говеннее, чем в подлиннике.

И опять, опять благодарю тебя очень за добрые слова обо мне. Письма Флобера я перечитал (3/4 впервые, впрочем, читал) года 2 тому назад. Да, многое, многое *удивительно* прекрасно то в том или другом смысле — это был совсем, совсем особый француз! Какое сердце высокое, романтическое, какой благородный и настоящий ум! А его любовная ночь, его, кажется, главная любовь, пережитая им в Египте с какой-то бывшей наложницей какого-то паши! Это тебе не французское любовное приключение в экзотических странах!

Поцелуй Верочку (мы получили от нее недели 2 тому назад 2 письма) и скажи ей: вот в "Натали" две любви, как вообще бывают две любви и две ненависти и одна из них иногда вдруг пересиливает другую. *Я с ней не смею* спорить, но прочие... Впрочем, это дело их вкуса и ума, математики... "Анна"[3] epuisee — браво!

Целуем Вас двух и третью Наташу, *умоляем* все-таки *серьезно* подумать о Растеряевой[4] улице! Всякий подвал лучше!

Твой Ив. Бунин

P.S. Недавно в письме к Рощину писал:

Трудно с новой жить Европой:
Не кури, не пей, не лопай!
Люди в сей Нувель Эроп
Будут, видимо, без ...,
Даже чтобы ссать и ...
Будут карточки иметь!

---

1. Это французский издатель Sorlot.

2. Русский текст этого рассказа "Натали" впервые появился в 2-й книжке (1942) *Нового Журнала.*

3. "Анна" впервые появилась в 1929 г. в издательстве *Современные записки.* Потом рассказ был включен в сборник *В пути* (1951).

4. Бунин советует Зайцевым покинуть их дом на rue Thiers, которую он иронически называл "Растеряевой улицей".

ПИСЬМА М. А. ЧЕХОВА

Дорогой Юрий Борисович!

Спасибо Вам за письмо, за книги и за *совершенно замечательную* первую главу Вашего "Темного гения"! Благодарю Вас и за лестное для меня желание Ваше иметь мое предисловие к Вашему труду. Очень хочу написать это предисловие, но без Вашей помощи я не смогу этого сделать. Может быть я и ошибаюсь, но мне кажется, что введение, или предисловие к такой книге, как Ваша, должно затронуть три темы: 1) — АВТОР (его личность, его особые "волнения" и "переживания" в процессе писания *этой* книги; побуждение, заставившее его писать и т.п. Все это должно быть, как бы ключом к тому, как читать его книгу). 2) — КНИГА (ее характерные особенности, которых не должен проглядеть читатель). 3) — ТЕМА книги (Мейерхольд. Пишущий предисловие, по-моему, должен сказать о В. Э. то, чего автор не сказал, но что он хотел бы, чтобы кто-то сказал для того, чтобы читатель лучше понял *точку зрения* его, автора, на В.Э.) Во всех трех пунктах я нахожусь как бы в некоторой тьме. Поэтому просьба моя к Вам, Юрий Борисович, заключается в том, чтобы Вы без всякой ложной скромности *"продиктовали"* мне предисловие. Если бы Вы захотели сделать это, то я мог бы, пожалуй, и сам "сотворить" кое-что без боязни оказаться слоном в посудной лавке. Будете ли Вы держаться трех упомянутых мною пунктов — зависит от Вас. Цель моя —

В переписку М.А. Чехова и Ю. Б. Елагина, напечатанную в кн. 135 "Н.Ж.", по случайному недоразумению не были включены приводимые сейчас четыре письма М.А. Чехова. Два первых из них Ю. Б. Елагин датирует октябрем 1954 г. *РЕД.*

быть в гармонии с Вашей книгой, послужить ей и Вам, а потому "диктуйте" все, что *ВЫ* хотите.

Буду счастлив, если Вы поместите мою статью в конце Вашей книги. Статья нуждается в некоторых небольших исправлениях.

Сообщите мне, Юрий Борисович, сколько времени Вы даете мне на предисловие. Учтите и то, что Вам придется прокорректировать его.

Огорчили и испугали Вы меня тем, что собираетесь сократить Ваши комментарии. Это очень опасно! *ЛИЦО* книги, несомненно, будет зависеть именно от Ваших комментариев.

Еще раз спасибо Вам. С нетерпением
жду ответа.

Всегда и искренне Ваш М. Чехов.

Дорогой, дорогой Юрий Борисович!

Спешно посылаю Вам совсем не отделанный набросок Предисловия, с покорнейшей и искренней просьбой поступить с ним, как Вам будет угодно: можете сократить его, удлинить, изменить или даже выбросить совсем. Я не проявлю никакого самолюбия и не затаю ни малейшей обиды. В этом можете мне поверить и чем больше будет Вашего красного карандаша, тем больше я оценю Ваше доверие ко мне. Если же уничтожите предисловие совсем, то сочту это шагом к нашей неразрывной дружбе. Хуже и больнее всего будет для меня, если Вы, из деликатности, испортите моим предисловием Ваш труд. Несмотря на Ваши указания я все-таки легко мог написать что-нибудь идущее в разрез с текстом книги.

За письмо Ваше и за добрые слова — спасибо. Исправленную статью мою вышлю Вам, как можно скорее. Над моей статьей Вы пишете: "Приложение Первое". Можно полюбопытствовать, какие приложения Вы еще имеете в виду?

Всегда Ваш искренне М.Чехов.

П.С. Пожалуйста, проверьте, Юрий Борисович, историю с партийным билетом гимназиста. Может быть *тогда* партийный билет и не означал вовсе принадлежности к большевизму и ком-

м'низму в том смысле, в каком мы их знаем теперь? Кроме того, Вы мне дали не очень много материала "о книге", а потому мои несколько слов о ней в конце предисловия не удовлетворят Вас. Что с этим делать?

Перечел, наскоро перепечатанное Предисловие и ужаснулся тем вольностям, которые, Бог ведает почему, позволил себе. Еще раз прошу Вас *ради Вашей книги прошу,* — не щадите! Пожалуй, неукротимый темперамент мой виноват. Пора бы и смириться, ведь мне седьмой десяток пошел.

Nov. 13. 1954.

Дорогой Юрий Борисович!

Благодарю Вас за письмо. Оно очень обрадовало меня и тем, что Вы приняли Предисловие (да еще похвалили меня!), и двумя отрывками из Вашей книги. Оба отрывка так же чудесны, как и 1-ая глава! И несмотря на "об'ективность", — *ВЫ* за каждой строкой и между строк! Но все-таки не поддавайтесь внушениям редактора и если Вы все еще, хоть немножко, работаете над текстом — не изгоняйте *себя!* Книг "Нов. Журн." я не открывал уже за много, много месяцев и не подозревал, что Вы напечатали там целую главу! Хорошо, что Вы сообщили мне об этом! Спасибо. (Занятость и болезнь глаз были главными причинами того, что я до сих пор не прочел 6-й главы из книги, которую я *уже* очень люблю!) Но прежде всего отправлю Вам это письмо, чтобы не задержать Вас.

Ваши поправки принимаю безоговорочно, но боюсь, что Вы недокорректировали *всего* текста, касающегося гимназиста-партийца. К сожалению, я не оставил себе копии Предисловия и не в состоянии поэтому сам проследить темы гимназиста слово за словом. В рукописном (не точном и не полном) черновике я наткнулся, напр., на фразу: "И гимназист, положив в карман партийный билет, решил всю дальнейшую судьбу Мейерхольда". Эта фраза, конечно, тоже должна быть изменена, но Вы не упоминаете о ней. А таких фраз может оказаться много. Кроме того, после Ваших поправок и того, что Вы пишете о времени поступления М. в партию (1920 г.), я стал сомневаться, правильны ли и нужны ли все мои рассуждения о том, почему М.

в зрелом возрасте не возвратил партийного билета и пр. и пр.? Не имея копии, я не в состоянии проанализировать этой темы сам, но чувствую, что где-то что-то не так! Дорогой Юрий Борисович, сделайте это за меня! Очень сожалею, что приходится утруждать Вас, но другого выхода я не вижу!

Статью мою (Приложение) я поправил. Мне кажется, что тема та же, что и была, но... подрумянена, бровки подкрашены, липстик, ну и пр. Прошу Вас и с этой демимондальной девицей поступить, как Вам будет угодно.

Но это еще не все, мученья Ваши еще не кончились! В Предисловии, которое я *спешил* отправить Вам, я писал, то "Ю.Б. Елагин", то без инициалов просто "Елагин". Может быть это невежливо? Если найдется у Вас время — обратите внимание и на это. И еще (да простятся мне прегрешения мои), я в совершенной вражде со знаками препинания (как чеховский тюремный смотритель Яшкин). Произошло это потому, что в последние годы я читал (и читаю) такое количество лекций, что у меня выработалась какая-то особая манера ставить "знаки препинания" жестами, паузами, интонациями, взглядами, ударениями, переменой темпов и т.п. Так что теперь, когда я пишу, я часто *не понимаю,* нужен ли тут знак препинания и какой? Выручите, Юрий Борисович!

А теперь, непрошеный совет. Когда будут переводить Вашу книгу на иностранные языки, может быть Вы сочтете нужным и возможным, избежать длинных русских имен, например: "Всеволод Эмильевич". Для иностранца, как Вы и сами знаете, русские *отчества* так затрудняют чтение, что они часто, хотя бы только на несколько секунд, даже теряют *смысл* читаемого. Я думаю, что это не выгодно для книги. Дерзаю говорить Вам об этом, потому что, будучи верным почитателем Вашим, я и в особенности супруга моя распространяем среди американских друзей наших Ваше "Укращение Искусств" и знаем, по опыту, как им трудно справляться с нашими *отчествами.* За непрошеный совет — простите.

Вот, кажется и все. Еще раз спасибо Вам, Юрий Борисович!

Супруге Вашей от нас обоих самый сердечный привет.

Искренне Ваш М. Чехов

Писем к нам Special Delivery посылать не стоит — они приходят всего на несколько часов раньше Air Mail и обычно в такое время, когда весь дом, включая наших собак, еще погружен в глубокий и невинный сон.

5 Мая, 1955.

Дорогой, дорогой Юрий Борисович!

Благодарю Вас за книгу с чудесной надписью! Очень благодарю! Я еще не дочитал "Темного Гения" (медленно приходится читать), но уже и теперь не могу удержаться от того, чтобы не выразить Вам своего восторга по поводу Вашего творения! Каждый раз, прочитав несколько глав, я пишу Вам длиннейшие письма (не пугайтесь — мысленно!). Я знал, конечно, что книга будет чудесной, но что она будет *ТАК* хороша — даже я не мог предположить! Какой Вы большой писатель! Какой проникновенный человек! Простите, что так прямо, что называется, хвалю Вас в глаза, но уж очень трудно удержаться. Многое поражает меня в Вашем вдохновенном труде, но одна вещь в особенности (даже не знаю, как ее и выразить): игра актера и режиссерские достижения постановщика — изчезают, перестают существовать, как только исчезает сам художник сцены и собственно никакие описания не могут вернуть, восстановить ушедшего. Но совсем не так обстоит дело с Вами! Вы каким-то, непонятным для меня, образом полностью восстанавливаете, оживляете, воскрешаете то, чего уже не существует больше! Вс. Эм. с его постановками — *тут,* он *жив,* Вы *действительно* сохраняете и передаете его потомству, будущему театру. Я еще не понял, *как* Вы это делаете, но может быть потом и пойму.

Умолкаю и, как обещал, напишу Вам, когда прочту все.

Ксения Карловна (жена моя) кончила вчера "Темного Гения" и пришла в такой восторг, что хотела немедленно послать Вам телеграмму, но мне удалось удержать ее.

Итак, до скорого свидания, дорогой Юрий Борисович. Ваш всегда М. Чехов.

Передайте, пожалуйста, мой искренний привет Вере Николаевне.

СОЛНЦЕ И ДОЖДЬ

ПО ГЕРМАНИИ 1945 ГОДА

Весело было ехать в хорошую погоду с уверенным чувством, что впереди есть мост. Проехали опять мосток за "ляском", ферму с ленинградской бабой и к 11-ти часам подъехали к Альттотингу. Город показался мне совсем другим. Военных почти не было. Во всем чувствовались уже новые порядки. На главной площади свеже расклеенные афиши с распоряжениями и новыми законами Милитэри-Говернмент. Оставив лошадей перед гостиницей, где нас ждала вся компания, мы пошли на разведку. Встречались люди в штатском с белыми повязками на рукаве — "М.Р."

В полиции, куда мы зашли справиться насчет моста и возможности переправиться, были немцы в штатском с повязками, и все были предупредительно любезны. В булочной хлеба было вдоволь и по карточкам все выдавалось как прежде. После завтрака, во время которого нас забавлял и смешил один из кельнеров, беспрерывно шутивший на английском языке, мы разбрелись по городу сделать кое-какие покупки. В 4 часа выехали из города; остался позади и Нейоттинг — санитарный город. Местность становилась все живописнее. По канавам, вдоль дорог валялись брошенные военные рюкзаки, каски, газовые маски. Поповский подобрал брезент, под которым вся компания впоследствии укрывалась от дождя. Поля, изрытые следами танков, порванные, беспорядочно свитые телефонные провода, вывернутые столбы — все свежие следы боев. Кое-где опрокинутые танки, обгорелые грузовики и в бесчисленном количестве пулеметные ленты, ружья и даже пулеметы.

См. кн. "Н.Ж." 135, 134.

Мы всегда старались, если можно, ехать по главной дороге, чтобы избегать встреч с американскими частями. Выехав из леса, поднимаясь по крутой дороге, конь наш все замедлял ход и наконец остановился. Я быстро подложила под колесо дубинку. Опустив шею, он тяжело дышал, раздувая бока, но послушавшись окрика Володи, сделал еще два шага; вдруг колени его подкосились, мотнув неловко шеей и выгнув спину, он повалился на бок. "Ой-ой-ой!" — закричали дети, сидящие на таратайке. "Готово!" — воскликнула я. Мы оба бросились к Гришке. "Издыхает!" Он лежал на боку, жалко вытянув морду с закрытыми глазами. Отделившись от передней подводы, со всех ног бежал к нам Поповский. "Господи, что случилось?" — воскликнул он, присев на корточки и ласково, обеими руками поднял голову коня. На знакомый голос Гришка фыркнул и открыл глаза, заерзал передними ногами, пытаясь встать, но Поповский нежно похлопал его по шее. "Лежи, лежи, это ничего, он просто устал, выбился из сил". Его распрягли, несколько минут мы молча стояли над ним. Дыхание его становилось все спокойнее и, наконец, упираясь подковами, он напряг все мускулы и встал. Пришлось сделать привал на этом неподходящем месте. Гришке отдали последний овес. Поповский печально держал в руках пустой мешок. "Без овса ехать невозможно, овес для коней все равно, что бензин для автомобиля. Подножный корм и сено хороши, когда кони не работают, а здесь, смотрите, этакую тяжесть тянуть..." Володя озабоченно и задумчиво смотрел на мешок: "Надо будет где-нибудь раздобыть!"

Солнце уже закатилось, небо на западе было золотисто-розовое, легкие горизонтальные тучки висели в нем высоко, высоко. Розовыми в этом освещении вспоминаются мне две фермы по обеим сторонам дороги. К левой направилась большая подвода и, чтобы "не пугать количеством", мы завернули к правой. Под сводом больших ворот въехали во двор. Он был окружен со всех сторон постройками: конюшня, сеновал, хлев. Крытая галерея вела от конюшни до жилого помещения. Один из углов двора был завален большой кучей мокрого навоза, в другом углу стояла клетка с кроликами. Постройки были основательные, все было хорошо слажено, во всем чувствовалась крепкая хозяйская рука. Нас встретила очень

неприветливая рыжая женщина с белым лицом. Она сердито начала говорить, что надоели ей приезжающие, от которых житья нет. Но раз уж мы въехали, то можем переночевать на сеновале. Для лошади, по ее словам, в конюшне места не было; ее тоже ввели на сеновал и нехотя женщина разрешила дать ей сена. Достав с повозки одеяла и подушки, я приготовила постели и, приказав детям сидеть смирно, пока я им сварю что-нибудь горячее, направилась в кухню. Рыжая хозяйка встретила меня на пороге с надменным лицом. "Достаточно того, что я вам позволила переночевать в сарае, ничего больше у меня не просите и я прошу вас в кухню ко мне не входить". Какой-то клубок подкатился у меня к горлу и вся кровь бросилась в лицо. "Хорошо вам, — начала я прерывающимся голосом, — вы дома, у вас дети сыты... а у меня... спасибо, мне ничего не нужно..." — и чувствуя, что больше не могу сдержаться, я быстро повернулась и пошла к сеновалу. Там я дала волю слезам. Закрыв лицо руками, я сидела на какой-то балке и вся тряслась. "Мамочка!" — с отчаянием воскликнул Мишка. Кто-то подошел сзади и тихонько обнял меня за плечи. "Ну, в чем дело? Nun was ist loss"? — неожиданно услышала я ласковый голос. Отняв руки от лица, я увидела хозяйку. В ее только что холодных серых глазах выражалось раскаяние. "Ну, в чем дело, не надо, пойдем со мной, перестаньте, — говорила она — я затоплю плиту, мы детям что-нибудь сварим" — и она повела меня в кухню. Мне было немножко стыдно, и тронута я была такой неожиданной переменой. Через десять минут ярко горели, потрескивая, сухие сучья в большой, до блеска начищенной плите. Она принесла кастрюлю молока, молча давала мне то ложку, то соль, предупреждая мои просьбы. Детей привели в кухню, посадили за стол. Появились яйца, хлеб и остатки подогретого супа. Когда дети насытились и поблагодарили ее, я повела их укладывать спать; тут хозяйка вытащила из духовки кастрюлю с мясом, неловко и грубо сунула ее Володе, потом присела к столу и, пока он ел, задавала ему вопросы, расспрашивая о нашей судьбе.

Спали мы на сене, а за нашими головами стоял Гришка, привязанный к перегородке. Всю ночь мне мешал спать хруст сена, нетерпеливый топот и звяканье цепи. К утру только он, видимо, уснул и водворилась полная тишина. Нас разбудил крик

петухов, кудахтанье выпущенных кур, возня и голоса на дворе. Было еще очень рано. Дети продолжали спать, пока мы умывались во дворе под краном ледяной водой. Хозяйка, улыбаясь, сказала, что в кухне нас ждет горячее молоко и хлеб. Денег с нас она взяла очень мало, долго рассчитывая, что сколько стоит.

Теперь наше направление было на Крейбург, откуда совсем уж рукой подать до Йеттинбаха, где, как нам подтвердили, уцелел каменный мост. Опять стали попадаться встречные и обгоняющие нас легкие джипы. В Крейбурге пришлось въехать в боковую улицу, так как по главной проходили колонны тяжёлых американских грузовиков. По узкой, мощенной булыжником, тряской улочке мы поднялись на круглую площадь в центре города. Посреди нее на деревянном помосте стояли два военных полисмена, регулируя движение машин. Треск моторов, скрип тормозов, гудки, окрики по-американски. Мы остановились с края вплотную к тротуару. Поповский подошел к нам: "Владимир Михайлович, надо бы как-нибудь этак насчет овса..." Его первая забота были лошади, но сам он, плохо говоря по-немецки и чувствуя в Володе готовность и энергию, предоставлял ему "разворачиваться". "Ах, да! овес... где же его достать?.. Постойте!" — какая-то идея родилась, очевидно, в его голове. Кожа на лбу вся сдвинулась, разгладилась, и он быстро удалился, отряхивая приставшую к пальто солому. Разыскав городское управление, Володя вошел в канцелярию и застал там средних лет человека, постриженного бобриком. "Вы бургомистр?" спросил Володя, после обычного приветствия. "Да, я". Он был только что поставлен на эту должность новыми властями. "Вот в чем дело: мы русские, едем на подводах в Мюнхен к родственникам, нам нужен овес". "Ну, и что же? — сказал немец, — почему же вы думаете, что я должен вам дать овес?" — С некоторым недоумением, отставив ногу и заложив руку за полу спортивной куртки, он смотрел на Володю. "Потому что, — резко возразил тот, глядя ему прямо в глаза, — вы имеете право отдать распоряжение, чтобы нам его выдали. В складах он у вас есть". Были ли здесь вообще склады и был ли в них овес Володя не знал, но это первое, что пришло ему в голову. "К тому же, — добавил он еще, — без овса мы ехать

дальше не можем и вам тогда придется заботиться о нашей судьбе, с нами двое стариков и четверо детей". Новоиспеченный бургомистр задумался. Взвесил возможные неприятности в обоих случаях и решил в пользу овса. Написал распоряжение о выдаче центнера овса и объяснил, где находится склад. Повеселевший Владимир Петрович с мешком и ручной тележкой бодро зашагал вместе с мужем. В Германии центнер это 50 килограммов, но Поповский стал уверять, что сто. Женщина, отмерявшая овес, протестовала, в самое лицо тыкала записку, но он так возмущался, настаивал и шумел, что она махнула рукой, уступила и насыпала полный мешок. Надо было видеть его торжествующее лицо и радостную улыбку, когда согнувшись под тяжестью мешка, он его сваливал на подводу. Лошадям сразу отсыпали по мерке и они весело хрустели, потряхивая головами. Пока Володя и Поповский ходили за овсом, я разговорилась с двумя американцами и узнала от них, что война кончена и военные действия прекращены.

Прохожие советовали нам ехать в Йеттинбах через Грюневальд и не по главному шоссе, по которому будто бы было запрещено ввиду непрестанного движения войск. Поповский хлестнул лошадей и вскоре вся передняя компания скрылась за углом. Володя еще некоторое время провозился с цепью на дышле. Когда мы выехали за город, никого впереди нас на дороге не было. Проехали еще километра два, — перекресток: какое направление брать? Спросили у работавшего на поле крестьянина. "Йеттинбах? через Грюневальд? А вот туда, прямо", — ответил он. Мы тронулись, ехали быстро и по всем расчетам должны были бы догнать уехавших, но их не было. "Мне кажется, — сказала я, — что они тут не проезжали, ни свежего следа от колес, ни свежего навоза на дороге". Мы были слегка озадачены, повернуть ли обратно, продолжать ли путь? "Поедем так, — сказал наконец муж, — цель известна, встретимся у моста. Они, должно быть, поехали по шоссе, но если там правда не пропускают, они должны будут вернуться и вскоре догонят нас".

Трудно было ехать по изрытой проселочной дороге и все время то подъемы, то спуски. У одинокого маленького дома дорога круто поворачивала вправо. На траве расположилась

отдыхать группа молодых людей и девушек. Они явно только что переоделись в штатское, так как одежда была с чужого плеча. Рюкзаки военного типа выдавали их окончательно. Застигнутые американцами они, очевидно, спешно скинули военную форму и старались пробраться домой. Молодость брала свое. Они пели, кто лежа на спине, кто сидя, перекидывались словами, смеялись. Мы спросили их, это ли путь на Грюневальд, они подтвердили. Дорога становилась все уже и уже, глубокие колеи, засохшие кочки. Таратайка скрипела, конь был в мыле. Перед одним очень крутым спуском мы остановились. Миша посадил Таню себе на спину, а я помогала Володе то сдерживать, то подталкивать тележку. Заторможенное дубинкой колесо тяжело тащилось, подпрыгивая по рытвинам. Гришке было не под силу тянуть по такой дороге груз, почти как на полозьях. Мы попробовали вытащить дубинку и, вцепившись с двух сторон, пытались сдержать раскатывающуюся тяжелую повозку. Конь приседал, упираясь ногами, дышло неумолимо тянуло его голову вверх. Мы были на самом солнцепеке, красные, запыхавшиеся, пот лил с нас градом. "Нет, так не годится, надо тормозить". Опять скрип, стонущий звук ползущего колеса, вытянутая морда Гришки. Мы останавливались, глубоко вздыхая, вытирали платками лбы и после короткого отдыха принимались снова. С грехом пополам спустились на дно лощины, около дороги лежало брошенное кем-то серое шерстяное одеяло военного типа. Мы его подобрали. Миша с Танечкой собирали в поле цветы. Нам предстоял еще более крутой подъем. На полдороге показалось, что не вытянем. "Пожалуй, придется сбросить часть вещей". Но было жалко. Попробуем еще. Муж так напрягался, толкая сзади, что я боялась, как бы у него жилы на висках не лопнули. Лицо и шея его были пунцовые. Наш верный Гришка тянул из последних сил. Связанные веревкой доски от тряски разболтались. Чемоданы и тюки вздрагивали, подпрыгивали, сено охапками валилось на дорогу, я его подбирала и несла на руках. Казалось, никогда не доберемся до верха. Однако добрались: "У-ух!" Мы оба повалились на траву и расхохотались. "Слава Богу, — ну и заехали, — говорил Володя, — я боялся, что Гришка сдохнет, или тележка развалится". "А я боялась, — сказала я, — что ты лопнешь, ты такой красный,

смотри, кондрашка хватит". "Ничего, сейчас отойду". Миша с Танечкой на спине бежал к нам по дороге. Таня, цепко обхватив его плечи руками и сжав коленками бока, весело смеялась. Ей было привычно гарцевать на брате, так как еще в Зимуне во время бомбардировок мы таким образом бегали в убежище. "Мама, — кричал издали Миша, — там за деревьями ферма, можно попросить холодной воды!" Володя живо вскочил на ноги. "Здорово, что жилье близко, там все и поправим".

Одинокая среди рощ и холмов ферма. Хозяин, добродушный простак, говорил на таком баварском наречии, что мы почти ничего не понимали, а скорее каким-то чутьем улавливали, что он хочет сказать. "Вы хотите в Йеттинбах? — сказал он и засмеялся, — где же ваша вторая лошадь?" "У нас ее никогда не было". "Так, так, — все смеялся баварец, — на одной этой вы до Йеттинбаха не доберетесь. Дорога ужасная". "Как? еще хуже той, по которой мы ехали?" — воскликнули мы с ужасом. Он только махнул рукой. "Много хуже; с таким грузом и на этом коне невозможно! Unmöglich!". Он задумался. "Я могу дать вам лошадь, — вдруг сказал он, — берите ее совсем, она мне не нужна, только сено жрет, это военная лошадь, ее оставили солдаты, берите, она вас вывезет". "Что он рассказывает? — не понял сразу муж. — Мне показалось, что он хочет дать нам лошадь, но я не уверена, переспроси его". "Komm, Komm", —говорил баварец, маня Володю пальцем в ворота. Через несколько минут он позвал меня с детьми: "Идите, они вас попоят молоком". Крестьянин действительно хотел нам отдать лошадь и повел в конюшню. Это была чалая крепкая кобыла; ее широкий крутой круп лоснился; переступая ногами, она косилась блестящим выпуклым глазом. "Только мое сено жрет, берите ее совсем", — повторял баварец, похлопывая лошадь ладонью по шее. Володя потирал руки, представляя себе выражение лица Поповского и всей остальной компании, когда мы подъедем на паре. Он хитро улыбался, говоря об этом. Я уже видела ясную картину встречи: их удивленные лица и нашу гордость.

"Стоило потрудиться, забираясь сюда". Но предвкушение поразить всех не оправдалось. Крестьянин вдруг задумался, попросил подождать и куда-то исчез. "Нет, лошадь я вам дать не могу, — сказал он, вернувшись, — она уже записана и я должен

сдать ее властям". Куда он мог так быстро сбегать и узнать, что лошадь записана, когда никакого села вблизи не было, осталось неясным. Мы поняли, что он вдруг пожалел, сообразив, что может продать ее. Мы стали предлагать ему деньги, папиросы, но он не соглашался. "Как же мы выберемся отсюда?" "Я вам одолжу ее, чтобы вывезти до главного шоссе, это три километра, — но тут же спохватился. — Нет, я совсем не могу ее дать, поступайте как хотите". "Да почему же?" — с огорчением воскликнула я. "Как же я ее назад получу?" "Вы проедете с нами". "Мне некогда, у меня много работы, нет, нет". "Ну, пошлите вашу работницу". Краснощекая, толстая девушка с улыбкой наблюдала всю сцену. "Ну, да, девушка с вами не справится. Вы хлестнете лошадей и уедете". Мы в два голоса начали клясться и уверять его, что на такую подлость мы неспособны. Он смотрел то на мужа, то на меня с недоверием, и вдруг согласился. "Ладно! Только не подведите, за лошадь отвечать буду я".

Мы выразили бурную радость, хотя и жаль было, что не удалось так легко приобрести вторую лошадь. Владимир Петрович до сих пор не может нам этого простить. Когда подвели кобылу запрягать, с Гришкой случилось что-то неладное. Он страстно заржал, стал рваться из упряжи, пытаясь встать на дыбы. Долго хлестал его Володя и кричал грубым голосом, пока не привел его в себя. На паре дело обстояло совсем иначе. Вдвоем лошади легко сдерживали тележку при спусках и свободно втаскивали на подъем. Дорога была действительно ужасная. Почти все время по лесу, вся в ухабах и рытвинах, местами болота густой, черной грязи. Я с детьми шла пешком. На шоссе отпрягли кобылу, дали девушке на чай и, вздохнув свободно, пустились рысью в Йеттинбах. Но тут нас ждал еще новый, бесконечно длинный спуск к городу. Отвратительная узкая дорога. Уже имея некоторую практику, мы с мужем осторожно спускали таратайку, то задерживая ее изо всех сил, то толкая. Несколько раз нам встречались джипы и меня поражало, с какой легкостью, почти не замедляя ход, они огибали нас, въезжая двумя колесами на небольшие подъемы по краю дороги. Одному из них пришлось остановиться, пропуская нашу неповоротливую группу. Он терпеливо, молча ждал. Тогда

меня это удивило, я ждала грубого окрика поторопиться, что было бы без сомнения сделано офицером немецкой армии. Спустились благополучно. Я продолжала идти пешком и, сокращая извилину дороги, спустилась на лужайку. Здесь трава была примята и земля взрыта следами танков. На повороте правый след был много глубже левого, очевидно танк здесь сильно накренился: я увидела в траве синий пакет. Подняла и прочла: Pipe and Cigarett. Tobacco. Пакет не был еще распечатан. Находка была замечательная. Тем более я была рада, что обыкновенно ничего не нахожу. Взобравшись на сиденье, мы с Володей скрутили себе папиросы и с большим наслаждением закурили американский табак, который не встречался нам с начала войны.

Солнце было уже над самым горизонтом, когда мы въехали в город. После наведенных справок оказалось, что мост километрах в двух от города. Волновались ожиданием, окажется ли у моста большая подвода. Но ее у моста не было. Мост был очень большой. Часовой прохаживался взад и вперед. Я пошла спросить, можно ли проехать на ту сторону. "Можно, но обратно уже нельзя". "Не видели ли вы подводу вроде нашей, но на паре, проехали ли они на ту сторону?" "Не видел, — ответил часовой, — я стою здесь только четверть часа". Он был очень любезный молодой человек и внимательно выслушал мои вопросы и недоумение, как поступить. "Может быть они ждут вас в городе", — сказал он. Володя отвел Гришку с тележкой в сторону. Там была зеленая лужайка, несколько деревьев и густые кустарники. "Подожди меня с детьми здесь, а я сбегаю в город, посмотрю, не там ли они. Может быть у них что-нибудь сломалось и они чинят у кузнеца". Я разложила на траве одеяло, покормила детей. Таня занялась игрой с пустыми банками. Миша вытащил из своего рюкзака книгу "Князь Серебряный" и углубился в чтение. Время шло. Я погуляла по полянке, посмотрела на мутно-серую воду реки Ин, вышла на дорогу посмотреть, не идет ли Володя, выкурила две папиросы, а его все не было. Гришка мотал головой, скаля зубы, старался разнуздаться, я окрикнула его, поправила узду, но вскоре он умудрился опять скинуть ее и, освобожденный, двинулся щипать траву. Шлея свернулась на сторону, вожжи запутали передние

ноги, он шел, подпрыгивая, терся головой о дышло. Конь чувствовал, что я не авторитет, не слушался моего голоса, упрямо не желал поднять ногу, из-под которой я хотела освободить вожжи.

Прошло больше часа. Солнце село, мужа не было видно. Ужасное беспокойство все более овладевало мною. "А что если его задержали в городе, новых документов у него нет, я не знаю, какие теперь порядки. Мы ездим как святые по дорогам, до сих пор никто ничего у нас не спрашивал, но ведь все может быть. По-английски он не говорит; показался подозрительным, где я буду его искать, и как оставить детей? А еще этот мерзавец Гришка распрягся, а запречь его я не умею. Миша утешал: "Не волнуйся, мамочка, придет, ты знаешь, какой папа, он так не пропадет. Задержался где-нибудь". "Где же он мог задержаться?" Я была близка к полному отчаянию. Одна с детьми, с распряженным Гришкой, ни денег, никаких бумаг. Уже стала соображать, как поступить в случае, если Володя не появится до темноты... и тут вдруг увидала его фигуру, идущую по тропинке вдоль реки. Я бросилась ему навстречу. В городе он наших не нашел. "Ах, Боже мой! Может быть в дороге произошел несчастный случай?" "Глупости", спокойно возразил Володя, но по его лицу я видела, что и он волнуется. Мы прождали еще несколько минут, вдруг увидели на дороге быстро подвигавшуюся подводу на паре лошадей, сзади прицеплена маленькая тележка. "Вот они". Отлегло от сердца, как хорошо, что всё так благополучно кончилось. Но велико было разочарование, когда подъехавшая ближе подвода оказалась чужой. "Ну, совсем как наша, и тележка сзади!" Опять волнение и беспокойство. Досадовали на них, что уехали не подождавши, вот и вышло... теперь неизвестно, что делать. Сегодня переехать мост можно, завтра новое распоряжение и будет нельзя. Переедем сейчас, они могут подъехать и ждать нас на этой стороне и не будут знать, где мы, а нам вернуться уже нельзя. Мост был такой длинный и другой берег, заросший кустами, был так далеко, что разобрать и увидеть друг друга было трудно, разве только караулить при въезде.

"Знаешь что! — придумал Володя, — поди спроси, могу ли я завтра вернуться пешком; в случае, если они не появятся и если

правда, не дай Бог, несчастный случай произошел с ними, то я смогу их разыскивать. Если можно, то мы сейчас переедем и заночуем на той стороне". Я подошла к часовому, начала ему все объяснять, как вдруг на той стороне увидела три фигуры с поднятыми кверху руками. Одна из них была Алинка, две другие американские солдаты. Они все трое неистово махали руками. "Oh! there is my sister!" — воскликнула я. Зазвонил телефон и мой часовой подошел к аппарату. "ОК!" — сказал он в трубку и весело обратился ко мне. "Это с той стороны звонят, чтобы вы скорей ехали, ваша компания уже давно вас там ждет и волнуется".

Через две минуты мы ехали по мосту. Нас встретили веселые лица Алинки и нескольких солдат. Они приветственно, как хорошим знакомым, махали нам руками и радостно восклицали: "Oh! there you are!. Видимо, солдаты приняли живейшее участие в нашей истории. Я боялась, что наши будут упрекать за то, что мы пропали и что Володя нападет на Поповского. "Все хорошо кончилось, ради Бога, только без руготни", торопливо говорила я, когда мы подъезжали. Но все они были так рады, что мы нашлись, такое было ликование, что этот вечер мне вспоминается, как один из самых счастливых и веселых за все наше путешествие.

Застава

На следующее утро мы выехали не спеша. Что это был за сияющий день! Солнце, голубое небо, молодая листва. Было особенно весело и все казалось прекрасным, как обычно и бывает после хорошо окончившегося приключения. На подъеме, у рощи нам встретились два человека. Один из них, завернутый в испанский флаг, радостно объявил, что если нам нужно, то в Мюнхене есть представитель красной Испании. "Ну его в болото, — процедил Володя и добавил: — Вот так каша! И как они ее расхлебают".

Солнце было уже высоко, когда у передней подводы стали разъезжаться колёса. В первой же деревушке свернули к кузнецу. В это время к соседней ферме стали подъезжать грузовики с большими красными флагами, с серпом и молотом, полные

советскими военнопленными. Поповский почему-то заволновался, требуя, чтобы не смели с ними заговаривать. "Мы же не знаем, кто и что они, видите, тут как будто образуется лагерь, узнают, что мы русские и влепят сюда, потом доказывай, что не верблюд". У меня было смешанное чувство опасения и большого интереса. Как Поповский ни шипел, не заговорить оказалось невозможным. Несколько человек окружили наши подводы и, конечно, тотчас же узнали, что мы русские. В это время кузнец, готовился что-то чинить, открутил от колеса гайки, тут лошади дернули, колесо соскочило и подвода ахнула на бок, кое-какие вещи с нее посыпались, дети завизжали, кузнец и Поповский крепко выругались, каждый на своем языке. "Ну, придется разгружать", — сказал отец, не двигаясь с места. Четыре здоровых парня, улыбаясь, наблюдали за происшествием. "А чего разгружать? — сказал вдруг один из них и плюнул себе на руки. Поднаддай, ребята!" Ребята, весело улыбаясь, двинулись вперед. Еще несколько человек подошли на помощь. "Раз, два, три, у-ух!" Тележка поднялась... и приняла опять горизонтальное положение. "Ну, ставь, папаша, свое колесо". Дело было улажено. Для дальнейших починок выпрягли лошадей, а мы тем временем без всяких опасений вступили в разговор с красноармейцами.

"Куда же вы все сейчас едете?" — спросила я. "А вот там пустая ферма, ее хозяин арестован (за Гитлера был, собака), мы в ней и обоснуемся, будем ждать пока, а там видно будет". Мы перешли дорогу к пустой ферме и сели в тени на траве. "Кто же вы такие?" — с любопытством глядя на меня, спросил чернявый парнишка с выбитым передним зубом. "Мы — старые эмигранты, из России уехали еще в 20-м году, мне 8 лет было". "Что ж, белогвардейцы, значит?" — вставил другой постарше, но в тоне его голоса не было вражды, а скорее любопытство. "Если хотите", — улыбнулась я, и боясь, чтобы разговор не свернул на скользкую тему, я поскорее заговорила о другом. Да и сами они избегали говорить о политике. Рассказывали, как их освободили американцы, как кормили, одели, как они сами разобрали склад припасов, и первые дни вообще не было ни в чем преград. Полная свобода опьянила людей и они ни о чем пока не думали. Все они были веселые, шутили, играли с детьми. С большой охотой и

дружелюбием, свойственным вообще русскому человеку, они помогали Володе приводить в порядок упряжь Гришки. Один из них, самый разбитной, всё хвастался, как он ловко раздобыл себе одежду, и вдруг взгляд его упал на рваные башмаки Лины. "Что же ты, — обратился он к Анне, ботинками для дочки не разжилась?" "Где же мне было разжиться?" — удивилась Анна. "А постой, я тут в доме хозяйские видел, сейчас тебе притащу, а то пойдешь со мной, выберешь, какие получше". "Да что ты, чужие!" Красноармеец даже удивился: "Зачем чужие? Ведь немецкие. Враз тебе их раздобуду". Анне стоило больших усилий уговорить его ничего не раздобывать, так как ей не нужно и в чемодане есть другие. "Ну, как знаешь". Он нехотя опять сел на траву. Ему явно было жалко, что не смог порадовать новыми ботинками.

У меня на языке все вертелся вопрос и наконец я не выдержала: "А что, ребята, вы не боитесь вернуться в Советский Союз, ведь пленные все считаются изменниками?" Я сама не ожидала того впечатления, какое вызвал мой вопрос. Они все смутились. Еле уловимая тень пробежала по лицам только что так весело настроенных людей. "Так вот потому мы все группой своей и держимся. Все вместе были взяты в плен, мы уж знаем, что не измена тут была, а окружение", — сказал ближе всех стоявший ко мне широкоплечий блондин. Я внимательно посмотрела в его серые, грустные глаза. Он опустил их. "Мы были в болоте, со всех сторон немцы, стрелять нечем, — продолжал он не подымая глаз, — уйти некуда, что тут будешь делать?" Я посмотрела на ребят. Они все как-то насторожились и, поддакивая, кивали головами. "Дома жена есть?" — спросила я. "Жена и ребятишки... — человек, глядя в землю, носком сапога подрывал пучки травы. — Ничего, докажем!" И вдруг решительно, с какой-то жалкой улыбкой, поднял голову. На одну секунду взгляд его серых глаз встретился с моим и я опустила глаза. Слов было не надо. Я поняла, и он знал, что я поняла, и что я получила ответ на мой вопрос. Мне стало тяжело и неловко. Эти люди, живущие сейчас только настоящим моментом, носят каждый в своем сердце проклятый вопрос, и, задав его, я смутила их временную радость. Человек, выросший и воспитанный в свободной стране, вряд ли может понять до глубины

драму советского человека.

Подводы наши были готовы. Красноармейцы помогли нам сесть, пожелали нам счастливого пути, долго махали руками вслед. Серые глаза стояли передо мной и взгляд их остался воплощением взгляда всего русского подневольного народа. Я думала о том, как французские пленные радуются освобождению, ждут с нетерпением возврата домой, их радость не омрачена ничем, они вернутся к женам и детям, к нормальной свободной жизни. А эти? Не так просто доказать в Советском Союзе, что ты не предатель, если оказался пленным. И прежде чем вернуться к семье, их всех ждет опять колючая проволока, допросы и в лучшем случае какой-то срок принудительных работ.

"Ты что молчишь?" — спросил Володя. "Думаю", — коротко ответила я. "Эй!Эй!" — вдруг диким голосом закричал лежащий над нашими головами на сене Миша. "Что ты орешь? В чем дело?" "Смотрите, смотрите! маленькая тележка!"... Маленькая тележка, привязанная сзади к большой подводе, перевернулась, поклажа, в том числе и старое седло, которое Поповский вытащил из развалин после бомбардировки в Вене и неизвестно для чего всюду возил с собой, лежали на дороге. Бедная тележка беспомощно билась. Никто из передней компании этого не заметил. Мы все стали кричать и, наконец, они остановились. Все бросились усердно подбирать вещи. "Тележка перегружена, — сказал Володя, — по-моему это седло можно здесь бросить". "Что?! — воскликнул Поповский, — Бог с вами, я его на Фазаненштрассе с таким трудом из развалин вытащил!" "Да на что оно вам сейчас, только место занимает!" "Оно из прекрасной кожи". "Так ведь оно все рваное!" "Неважно, главное, это первоклассное седло и отличная кожа". "Было первоклассное, а теперь это что-то вроде музейной древности, его надо бросить". Но это было невозможно для любителя сёдел, и Поповский уже прикручивал его веревкой к тележке. Мы со смехом сели по местам. Не проехали и 300 шагов, как тележка завиляла, закрутилась, подпрыгивая по дороге. Она казалась живым существом, которое старается отвязаться и убежать в сторону. "Сейчас опять перевернется...", — и не успела я договорить, как хлоп! и опять та же история. Все вывалилось, кроме первокласс-

сного седла, которое, привязанное веревкой, тащилось по пыльной дороге. "Стой!"... кричали все не своими голосами. Дети радовались, взрослые спорили о том, как лучше привязать. Опять поехали и опять та же история. "В чем дело? Сколько мы уже проехали и никогда этого не было", — удивлялся отец."А дело в том, — сказала мама, — что по этой дороге не надо ехать. Мне один из красноармейцев сказал, что там застава и никого не пропускают". "Причем же тут тележка?" "Она нас предупреждает". Все засмеялись. "Типично женское рассуждение, — с легким презрением сказал отец, — просто не надо так крепко прикручивать и дать больше свободы дышлу".

С нами поровнялась группа совсем молодых немецких солдат, безоружных, с рюкзаками за спиной. "О, видите, — Поповский со злорадством скосился в их сторону, — небось пешечком теперь передвигаются!"... Когда мы уже двинулись, отставший совсем молодой солдат, видно изнемогающий от усталости, попросился сесть на подводу. "Ни за что!" — сказал Поповский. Анна вступилась. Но он и слышать не хотел: "И так груз большой, а вы еще хотите немцев подбирать, пусть пройдется, ему это полезно". Солдат держался за край подводы, выжидая результата непонятного разговора. Я видела как Анна что-то сказала ему, показывая на тележку и солдат сел боком на седло Поповского. Некоторое время все было благополучно. Лошади бежали крупной рысью, тележка с седлом и солдатом подпрыгивала по рытвинам и вдруг опять стала забирать то вправо, то влево, все больше и больше. Я помню испуганное и нерешительное лицо солдата: соскочить или нет, но не успел он и двинуться, как тележка забрала в один бок, в другой, подскочила... и солдат, седло, ведро, ящик с инструментами, какой-то мешок — все оказалось на дороге, в пыли. Никогда не забуду бешенства Поповского, хохота детей и смущения бедного солдатика. Нагорело и Анне. С тех пор она больше не пыталась проявлять человеколюбие.

Но вот вдали показались строения и около них большая группа людей. Подъехав ближе, мы увидели слева от дороги сидящих на пригорке мужчин, женщин и нескольких детей. Их было не меньше сотни, и груда велосипедов. Справа на лугу стояли телеги вроде наших и паслись распряженные лошади. На

дороге стояло несколько американских солдат: прежде чем они успели сделать нам знак, мы остановились. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга.

"Ольга, иди разговаривать! — кричали мне с передней подводы. Я подошла. "How do you do?" — сказала я ближайшему американцу. "Hello", — ответил он. "В чем дело? — продолжала я, мы можем проехать?" "Нет, — ответил он, — слезайте. Никто не может так свободно ездить по дорогам, это запрещено. Куда вы едете и кто вы?" Я объяснила, кто мы, сказала, что едем в Мюнхен к родным и ни за что не хотим расставаться с лошадьми. "Что же делать?" "Вы не можете так продолжать путь. Мы ваших лошадей распряжем, а вас отправим в Мюнхен на грузовике, вот подождите с теми людьми". Поповский, весь настороженный, стоял рядом со мной. Я перевела ему слова американца. "Невозможно, нет, нет, как же бросить лошадей? Помилуйте, скажите ему, что лошади мои собственные". "Это его собственные лошади", — сказала я солдату. Тот пожал плечами. Подошли другие, стали переговариваться. "Спросите его, в чем дело, отчего мы не можем ехать дальше?" Я начала снова мой разговор с солдатом. "Скажи ему", — кричала с подводы мама, но я не слышала, что надо было сказать, потому что Володя в другое ухо настойчиво твердил:... скажи ему.., а американец в это время так быстро что-то говорил, глотая половину слов (он, должно быть, был с севера), что я не знала, кого слушать и не слышала никого. "Да, ради Бога, не все сразу, — наконец вспылила я, — говорите ему сами!" "Я бы сказал, — проговорил Володя, — но ты сама знаешь, что я ничего не знаю, кроме five o'clock и Mickey Mouse". Солдат перестал говорить и с удивлением смотрел на Володю. Он, должно быть, никак не мог понять, к чему относятся эти единственные американские слова, которые тот произнес. Поповский нервничал, прошелся по дороге и заявил, что нельзя сдаваться и требовал, чтобы я уговорила солдата. Мама совершенно спокойно, не двигаясь с места, заявила: "Ну, что же, давайте слезать, на машине мы еще скорее доедем до Мюнхена". Поповский даже подпрыгнул. "Как? Слезать? Да разве вы не понимаете, что отсюда мы попадем прямым ходом в лагерь. Да! В лагерь, а потом и на родину советскую отправят! Так точно!

На родину и вас не спросят, хотите или нет. Русские? — Пожалуйте домой...”

Я в это время продолжала разговор с американцами. К счастью, это не были немцы и не уперлись в бесповоротное ”Befehl ist Befehl”, а слушали внимательно и старались найти выход. Отец, тоже знающий английский язык, подошел к нам. Вызвали лейтенанта. Это был американец польского происхождения. ”Если вам жалко лошадей, — смеясь сказал он, — то имейте в виду, что сейчас повсюду их ходит сколько угодно, — и он показал на пасущихся на лугу — Вы в Мюнхене других подберете”. ”Не в этом дело, вы поймите, что мы не хотим вливаться в общую массу беженцев”. ”Ладно, — вдруг сказал лейтенант, — возвращайтесь назад и переждите где-нибудь на ферме недели две, этот приказ, может быть, будет отменен и вы на своих лошадях доедете туда, куда вам нужно”. Этого только мы и ждали. Завернули и рысцой поехали прочь от опасной заставы. Люди на пригорке смотрели на нас с завистью. Маленькая тележка больше не переворачивалась.

(Продолжение следует)

Ольга Толстая

ДЕЛА СОВЕТСКИЕ

Немножко истории

Впервые в мире строительство социализма началось революцией 1917 года в России. К этому времени во всем мире и особенно на Западе созрел огромный заряд идей социализма — идей совершенного человеческого общества, с помощью которого можно будет достигнуть всенародного процветания и истинной справедливости. С самого начала революции не только многим вождям российского социализма, но и массам рядовых людей было так или иначе ясно, что без кровавого насилия строить социализм невозможно. Никакие способы убеждения не могли привести к восприятию многомиллионными массами людей единой веры социализма. Без единой же веры в социализм социализма не построишь. Безусловно, вопрос в те времена стоял так: или отказ от осуществления социализма или истребление несогласных с этой единой идеей. Даже только начать строительство означало необходимость завоевания монопольной власти. Для этого опять была нужна сила и истребление. И это нужно было делать скорее, пока не был истрачен революционный заряд масс. Только завоевав монопольную власть, можно будет производить истребление людей во имя торжества социализма более планомерно и организованно.

Произошло так, что, по мере убывания поддержки населения, нарастала сила организованной, единой власти. Впрочем, можно сказать, что укрепляющаяся власть социалистической организации вплоть до хрущевского времени имела в своем распоряжении достаточную поддержку в среде населения, чтобы продолжать истребление в необходимых масштабах. Без массы

добровольных или полудобровольных исполнителей это было бы невозможно. Конечно, большинство населения довольно быстро перестало одобрять насилие и истребление. Однако никто еще толком не знал, что такое осуществленный социализм и к чему он ведет. Если не говорить об истреблении людей, то сама идея социализма еще не была опорочена и это обеспечивало достаточную силу власти. Тем более, что в среднем весь остальной мир был на стороне социализма в России, оказывая ему поддержку. Как всем известно, идея социализма на Западе и до сих пор не опорочена.

Ясно, что в этот период и в России и в мире не было силы, которая была бы в состоянии сокрушить народившуюся и все еще укрепляющуюся власть социализма. Так, вплоть до 1959 года было истреблено 67 миллионов населения России, т.е. в среднем более чем по 1,5 миллиона в год. Такой ценой население было приведено в состояние достаточно полного конформизма с властью социализма и его идеей.

Я думаю, что будет ошибкой не отдать должного огромной силе веры в социализм вождей и организаторов строительства социализма. Они же были провозвестниками рождения и становления и новой, социалистической морали, без которой социализм тоже невозможен. Морали, которая обрекала в жертву социализму как простые человеческие чувства, так и массы самих людей, носителей этих чувств. Без этой новой морали (ее, конечно, можно назвать аморальностью) и без этой огромной веры в социализм СССР бы не появился на свет и тем более не укрепился бы.

Теории рабской покорности российских народов и демонически злой власти случайного скопления сатанинских и беспринципных вождей явно не соответствуют действительности. Так или иначе, к концу сталинской эпохи социализм распространился на всю территорию СССР и дотошное национальное планирование (управление) проникло во все поры советского общества. Апогей социализма был достигнут в хрущевские времена. Все так или иначе разумно планировалось, управлялось и власть была крепка, как никогда. Эта прочность власти характеризуется и тем, что для ее функционирования было достаточно истреблять уже в 10 раз меньше людей, чем раньше. По

оценкам французского журнала "Фигаро" (1979) с 1959 года по настоящее время было уничтожено всего лишь 3 миллиона людей, т.е. всего по 150 000 человек в год. Социализм был реально и зримо построен.

Однако, чем совершеннее и организованнее становился социализм, тем в большей степени становилась очевидной полная его неспособность выполнить обещания процветания и справедливости. Зрелый социализм и по процветанию и по справедливости (человеческой) оказался много хуже известного всем "гниющего капитализма" и, как многие стали догадываться, даже прежнего самодержавия. Несложные подсчеты показывают, что средний уровень жизни трудящихся в СССР в 1968 году составил всего 47% от их уровня жизни в царской России в 1914 году. Более того, в том же 1914 году в России он был выше, чем в Англии. Однако к 1968 году капиталистическая Англия подняла свой уровень в 2,5 раза, а СССР даже не смог достигнуть царского.

Что касается справедливости, то и она оказалась и в царской России и на капиталистическом Западе неизмеримо лучше. Эти "достижения" социализма к концу хрущевской эры стали настолько ясны, что и у населения и, особенно, у вождей полностью пропала какая бы то ни была вера в социализм. Вождям оставалось цинично держаться за власть и пытаться сохранить существующее положение, а населению — тяжко задуматься, что делать дальше и к чему стремиться. Появилось множество улучшателей социализма (и восстановителей "правильного" марксизма). Тем более, что сильных альтернатив социализму, царизму и монополизму Запада еще не появилось.

Конечно, если бы люди могли ограничиться судьбой винтиков и болтиков в машине социализма, она бы, эта машина, могла бы исправно действовать. Однако это совершенно не в природе людей. Началось злостное разрушение машины на всех этажах. Воровство, взяточничество, очковтирательство, саботаж стали порядком дня. С этих пор продолжает работать и совершенствоваться лишь военная часть машины социализма. Гражданская же часть под давлением неудовлетворенных масс становится все хуже и хуже. Между прочим, ошибочно думать, что сокращение военной части может улучшить часть гражданскую. Военная часть потому и

процветает, что вполне соответствует самой идее социализма. Даже если ликвидировать военную часть совсем, гражданская от этого ничего не выиграет. Как ни сложна военная машина, она вполне предсказуема и социалистически управляема, а действия миллионов людей превращают даже очень разумные национальные гражданские планы в филькину грамоту.

Из всех перспектив социализма в СССР осталась, таким образом, только перспектива завоевания мира на костях собственного (и других стран) населения.

Итак, нынешнее положение социализма в СССР характеризуется полным крушением его идейного багажа, полным разочарованием населения и вождей в социализме и ухудшением, а не улучшением материального и духовного климата, а также ростом военной мощи. По Ленину для революции в СССР теперь не хватает лишь сильной и ясной альтернативы, т.е. цели, и хорошо организованной оппозиции. Пока их нет, социализм в СССР будет оставаться крепким. Это усугубляется тем, что социализм невозможно улучшить либерализацией. Любая либерализация разрушает социализм, допуская вместо единой воли хаос человеческих чувств и действий. Естественно, что эта единая воля-власть сама по своей воле не пойдет на это.

Рассмотрим теперь подробнее нынешнее положение в СССР.

Военная мощь

Трудно оспорить, что армия представляет собой наиболее совершенный образец вполне социалистической структуры. Как ни сложна военная машина, ей присущи эффективное планирование (управление) и вполне целесообразная организация. Её обеспечение и в данный момент и в ближайшем будущем вполне поддаются расчету и предсказанию. Чтобы устранить непредсказуемость людей, составляющих эту машину, не трудно использовать давно известные средства: страх жестокого наказания для непослушных, существенные материальные и другие привилегии для послушных и, конечно, подробные военные уставы, точно предписывающие любым участникам машины необходимые действия в любом мыслимом армейском случае. И это в точности те же средства, что и для всей социалистической машины вообще.

Отличие лишь в том, что эти средства в армии действуют, как и полагается, а в гражданском мире, как и полагается, не действуют: все возможные действия людей не рассчитаешь и в законы не впишешь. Поэтому гражданскую часть и было невозможно загнать в колодку плана и устава социализма.

Так или иначе, военная мощь СССР в последние 10-20 лет неизмеримо выросла на плодородной для нее почве социализма и продолжает расти. По существу, СССР стал наиболее мощной военной державой мира, обогнав в этом США. Конечно, военная машина не может быть полностью изолирована от гражданского хозяйства. Тыл явно плохо обеспечен. У населения социалистического патриотизма нет. Несмотря на многоступенчатый и весьма строгий контроль военной продукции, гражданский развал рано или поздно даст себя знать и в обеспечении армии танками, ракетами, самолетами и т.п. и тогда, прощай всё. Поэтому вождей социализма в СССР (и таковых на Западе) дело явно припекает: нужно торопиться. Нужно теперь не просто тратить средства и силы на победу социализма в других странах. Нужно осуществить такое завоевание, не переходящее в ядерную войну, которое позволило бы подкормить и подкупить гражданское население в СССР. На самый худой конец можно рискнуть и на блицкриг. Лучше, однако, обойтись без этого, использовав огромную силу еще не опороченных идей социализма на Западе и угрозу, представляемую военной мощью социализма. Третий мир, конечно, для этой цели не подходит — слишком беден сам. Нужна, конечно, Европа.

В ближайшие годы наступает критический период социализма в СССР. Вожди к этому усиленно готовятся. Созданы огромные военные запасы и снаряжения, и пищи (при голодающем населении), советская военная машина и подрывная деятельность на Западе развернуты на полный ход. Судьба социализма и Запада поставлена на карту.

Сельское хозяйство

Наиболее яркое представление о полном развале социалистического сельского хозяйства можно получить, внимательно прочитав постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, скажем, в "Известиях" от 5 апреля 1979 года. В

этом постановлении говорится о мерах по обеспечению уборки будущего урожая и о мерах по перезимовке скота в будущую (1979-1980 года) зиму. Уже сама столь ранняя предусмотрительность очень показательна.

Это постановление, естественно, не снимает годовых и пятилетнего планов, хотя легко заметить, по большинству пунктов создает в них явный хаос. Нет никакой необходимости знакомить читателей со всем длиннейшим постановлением. Интересующихся подробностями отсылаем к газетам. Постановление подробно перечисляет все, что нужно делать, в какие сроки, как и в каком объеме. Создается отчетливое впечатление, что во всем огромном сельском хозяйстве страны большинство его работников или лишено совсем какой бы то ни было квалификации или просто не выполняет своих прямых обязанностей. Поэтому ЦК и Совет министров вновь и вновь перечисляют эти элементарные обязанности, не надеясь на свою же плановую систему.

Прежде всего, к уборке урожая привлекаются все трудящиеся города и деревни, включая школьников и студентов, весь имеющийся в хозяйстве транспорт, и точно перечисляются поощрения (надо сказать, не великие). Я процитирую несколько отдельных пунктов постановления для примера:

"Обеспечить полную сохранность всех посевов зерновых культур и использование их только по прямому назначению".

Как видно, посевы на практике не сохраняются или используются не по назначению (на самогонку, что ли?).

"Не позднее чем за две недели до начала уборки подготовить всю уборочную технику, обратив особое внимание на качество подготовки".

Как видно, эта техника никогда не бывает готова, а качество подготовки может быть только плохое.

"Укомплектовать хозяйства кадрами трактористов-машинистов и обеспечить повышение квалификации кадров механизаторов". В несколько месяцев! Как в сказке!

Как и во всем народном хозяйстве, квалифицированные кадры исчезают. Нет и смысла овладевать квалификацией: по моим подсчетам, если уровень жизни неквалифицированных работников в СССР близок к их уровню жизни в 1914 году, то у квалифицированных — он много ниже.

"Обеспечить в *период* уборки надлежащую организацию в хозяйствах общественного питания, культурно-бытового и медицинского обслуживания".

Как видно, ничего этого, как правило, не бывает ни во время уборки, ни в остальное время.

"Укомплектовать пищеперерабатывающие предприятия квалифицированными рабочими и специалистами для бесперебойной приемки и переработки скота, птицы и кроликов, а также обеспечить сохранность живого веса и упитанности принятых животных и птицы". Это уж совсем похоже на заклинание. И обратите внимание на кроликов!

"Максимально использовать на корм ботву сахарной свеклы и картофеля, отходы овощеводства, а также солому, мякину, отходы пищевой промышленности и общественного питания".

"Выдавать до 50% сена (бесплатно) работникам, занятым на косьбе и заготовке сена *вручную, без оплаты за труд*".

До чего дошло! Приходится даже высшему органу власти в стране предписывать и ручную уборку и специально заботиться о ней, чтобы еще зря не заплатили за труд, да не отдали бы все сено, а только 50%. Пожалуй, больше нет смысла продолжать: все в таком же виде.

Это постановление вполне может быть надгробным словом социализму. После 60 лет социализма сельское хозяйство перестало кормить страну, а остальное советское хозяйство не может обеспечить сельскому хозяйству ни квалифицированные кадры, ни сельхозтехнику, ни транспорт, ни даже простую организацию. Таким образом, при капитализме миллионы трудятся, как полагается, а управители практически не вмешиваются. При социализме же вся забота и вся работа сваливается на управителей, а миллионы, как говорится, "вола вертят".

Вслед за вышеуказанным постановлением 6 мая 1979 года ЦК КПСС также подробно и дотошно предписывает "дальнейшее улучшение" идеологической, политико-воспитательной работы. Оказывается, согласно постановлению, что в бедствиях социализма виноваты вражеская пропаганда и недостаточная идеологическая работа внутри страны. Пожалуйста, не обманывайтесь! ЦК превосходно знает, что это все — вранье. Однако нельзя же признать провал и оставить бедлам социализма и народ-

ный саботаж без объяснения. Однако объяснение объяснением, но во многих местах страны начинается прямой голод, не только повсеместное недоедание. Что же делать? Рецепт один: приходится капиталистически, эгоистически заинтересовывать людей. Именно эгоизм людей заставлял их качественно работать, и кормить, и одевать всю страну, скажем, при НЭПе, не говоря уже о царизме. Без особой помпы появляется решение вождей всемерно поощрять приусадебные хозяйства и хозяйства трудящихся. (Эти хозяйства последнее время опасно снизили свою продукцию с 32% до 27% всего сельскохозяйственного производства).

Однако это не помогло. Вспомните директиву о создании колоссальных колхозных комплексов (до 50.000 гектаров, т.е. 125.000 акров в каждом). Колхозники из деревень переселялись в центральную усадьбу с многоэтажными домами. Это осуществлялось на протяжении уже многих лет. Какое уж тут приусадебное хозяйство на втором или третьем этаже, да еще с "приусадебными" участками за несколько километров вдали. Да и другие трудящиеся из своих одноэтажных домиков на семью с огородами переселяются в плановом порядке в многоквартирные многоэтажные дома. Частная сельскохозяйственная продукция таким образом резко снижается. Что же делать? Голод — не тетка! Втихомолку принимается постановление восстановить Отделы Рабочего Снабжения (ОРСы) с их хозяйствами, введенные во время последней войны. В прошлой напряженной военной обстановке государство сняло с себя всякие заботы о пище для населения, переложив ее на ОРСы и на США. ОРСы и США тогда выручили. Пусть выручают и теперь. Предприятие и его работники заинтересованы в своей пище. Так, вот, пусть ее сами и организуют. Сумеют — будут сыты. Нет — сами виноваты. Скажем, известный всем Магнитогорский комбинат получил во владение 28.000 га сельскохозяйственных угодий на свои 180.000 трудящихся (с семьями). Понятно, что тут можно на трудящихся и поднажать: выплавил тонну стали, получай килограмм картошки. Нет, так ничего не получишь. Заработают, небось!

Правда, по всем расчетам 28.000 га мало для всех. "Ничего, освойте 28.000, дадим еще!" Только выручит ли это из беды? И, пожалуйста, не думайте, что управители и вся администрация в СССР сплошные идиоты или прохвосты. Нет, далеко, не так. И не

идиоты и не прохвосты. Встаньте вы сами на их место и будет еще много хуже. Еще больший бедлам и неразбериха, *если, конечно, сохранять социализм.* Дело-то вполне понятное. Никакое государство не может заменить собой мозги, руки и желание миллионов трудящихся, а социализм именно это и предписывает, регламентируя всё и вся и создавая единую волю в огромной стране. Вы и сами можете убедиться, особенно, в Англии, как по мере роста мощи государства и общественного хозяйства, совершаются те же глупости, что и в СССР. Пока еще не в такой степени, потому что еще не все обобществлено. Кой-какие миллионы мозгов и рук все еще с желанием работают. На большей части территории СССР (если не считать крупных центров) пища уже давно нормируется. Получить кило мяса (в основном, жилы, кости и жир) в месяц на семью — уже счастье. Хлеб состоит из чего угодно, только не из пшеницы или ржи. За хлебом, картошкой, маслом, маргарином, за молоком, почти за любыми продуктами очереди и, как правило, огромные. Иногда на целую ночь.

И, знаете, давно бы вожди перешли бы на капитализм, ликвидировав социализм, да нельзя — власть потеряешь. Не могу удержаться от последнего штриха. В книге "Моя жизнь" Троцкий дает следующие сведения. В поместье его отца на площади 100 га при самой примитивной технике и без искусственных удобрений и гербицидов в 1885 году получали урожай пшеницы в 33 центнера с гектара. После 60 лет социализма на тех же землях с применением искусственных удобрений больше 25 ц.с га не получают, а большей частью даже много меньше. В "Известиях" за 10 апреля 1979 года целый "подвал" занимает статья "Сибирский картофель". Из нее можно узнать, что 160 ц.с га являются призовым урожаем, а среднее хозяйство имеет в 2,5 раза меньше, т.е. 73 ц. с га. В 1976 году в США (последние цифры) средний урожай картофеля по всей стране составил 326ц. с га. Получается так, что не только "поглупели" и "разучились всему" управители, но "поглупели" и "потеряли квалификацию" и трудящиеся сельского хозяйства. Явно, что обобществленное хозяйство превращает и управляемых и управляющих в идиотов и прохвостов. Или вы думаете, что среди российских народов каким-то чудом исчезли все умные и честные люди?

Остальное гражданское хозяйство

Расточительство и бедлам характеризуют не только социалистическое сельское хозяйство. Состояние остального гражданского хозяйства мало чем лучше. Если просмотреть за прошлые годы постановления ЦК КПСС и Совета министров, то их стиль и содержание в точности соответствуют уже цитированному постановлению. И в этих постановлениях приходится давать трудящимся элементарные указания на их обязанности и входить в мельчайшие подробности, предписывая каждый шаг в надежде, что это может что-нибудь изменить. Трудящиеся, как видно, потеряли всякое желание добросовестно трудиться и утруждать свои мозги. Вот несколько примеров, типичных для общественного хозяйства, из прессы СССР для иллюстрации.

Автомобильный кран крановщика Михайло Гошкива на одном из предприятий города Краснодара отдал "Богу душу". Дирекция посылает крановщика в Дрогобыч на завод, выпускающий краны, "выбивать" себе новый. Конечно, Гошкива получает на руки разнарядку министерства на получение крана в соответствии с установленным планом сроком. Что он увидел в Дрогобыче? 40 человек, как написано, "крановых ассов" — получателей кранов вместе с их напарниками день и ночь (потому и напарники) дежурят, подглядывая через забор, чтобы схватить нужный до зарезу кран. Гошкиве на ладони добровольный организатор ставит чернильным карандашом номер очереди. На заборе, в рамке, объявление:

"Получателям кранов столовая и туалет на железнодорожном вокзале. Администрация."

Насчет ночевки и вообще ничего не сказано. Ночевал Гошкива в какой-то котельной на пакле и ветоши по милости котельщика, сжалившегося над Гошкивой. Вот сцена: "раскрылись створки ворот и заводские работники осторожно выкатили очередной кран за ворота и юркнули обратно в завод". Первый в очереди получателей немедленно уселся на кран и начал движение. Не тут-то было: страшный хряск и удар. Вышел из строя стабилизатор башни. Комментарий очереди: "Кто это сваривал? Он до этого, кроме макарон, что-нибудь сваривал?!" Подошел Гошкива посмотреть:

"пробка бака на машине отвернута, трубопроводы разобщены, и, минуя фильтр, идет к мотору "клистирный резиновый шланжик". Кроме того, оказалось, что электрическая система крана выдается теперь "навалом" в отдельном мешочке, не установленная на кран. Получатели в этом случае откатывают кран вручную за угол и два дня "на свежем воздухе" устанавливают сами на кран электрическую систему. Причина этого порядка — иначе разворуют.

Через несколько дней получил и Гошкива кран: швы точечной сварки недоварены, смазочное масло недозалито. Машина расхлябана, нету сертификата проверки, кое-что уже раскрадено, но, главное, нет генератора, без которого кран вообще работать не может. Еще два дня Гошкива пытался вступить в контакт с администрацией, пока "сподобился": завод снял генератор с крана, отправляемого (и после отправленного без генератора) потребителю по железной дороге, и отдал его Гошкиве. Затем ему еще день пришлось выпрашивать литр масла для коробки передач, недостающий крепежный болт М61 и "жменю солидольчика" (горсть густой смазки). "Кое-как привел Гошкива кран в порядок, отбыл каторгу поручения и порулил в Краснодар". Завод кранов в Дрогобыче, конечно, государственный и не только работает по плану, но и перевыполняет его (ясно, как?). Описанный порядок и качество продукции в СССР "на гражданке" повсеместны. Поэтому толкачей-получателей в СССР не менее миллиона и мало кто доверяет груз заводу или железной дороге. С железной дороги вообще ничего не взыщешь. В крайних случаях, получатель сопровождает свой груз и по железной дороге, ночуя и питаясь, где попало. Этот пример относится к 1979 году, т.е. ко времени вполне зрелого социализма. Надеюсь, что читатель не посетовал за длинное описание: подробности уж очень красочны и характерны.

Вот другой пример. Редактор провинциальной газеты посылает толкачом одного из своих корреспондентов. Бумага на исходе, а Краснокамский бумажный комбинат не дает полагающейся по плану бумаги этой газете. Корреспондент-толкач летит самолетом в Пермскую область на этот комбинат. Оказывается, что Пермлеспром не дает комбинату положенного по плану древесного сырья-балансов. Корреспондент летит в Пермлеспром (его владения раскинулись от Заполярья до Астрахани на Каспийском море). Вместе с начальником отдела сбыта

Пермлеспрома толкач-корреспондент едет поездом в леспромхоз. Там им показывают много уже заготовленного леса. Оказывается, нет вагонов для перевозки леса. Корреспондент отправляется на железнодорожную станцию. Дежурная по станции со слезами на глазах сообщает, у нее лишь один локомотив и на маневры и на транспорт. Скопилось множество срочных груженых и неотправленных вагонов. Корреспондент к начальнику дороги. Тот ему сообщает, что только что получил встряску от министра за задержку вагонов с углем: "уголь сейчас — самое главное!" При этом выясняется, что главный распорядитель погрузки лесогрузов — Запураллесстройснабсбыт. У его начальника выясняется, что "сейчас самое главное — дрова". Тут корреспондент-толкач не выдерживает и грозит фельетоном в газете. Начальник пугается и дает распоряжение отгрузить балансы бумажному комбинату.

Вот и попробуйте в плановом хозяйстве обойтись без толкачей. Не поехал бы толкач-корреспондент и стоял бы без работы огромный бумажный комбинат. Сообразили?!

Вот еще пример. В Опочецком районе 540 деревень. Сколько должно быть в них магазинов? 540? Ошиблись. Всего 70. Научно обоснованный план должен учитывать рентабельность (по-капиталистически, прибыльность) и нормы: число квадратных метров магазинов, приходящееся на 1000 жителей. Поэтому суммируются квадратные метры 70 магазинов и делятся на сумму жителей в 540 деревнях. Получается норма. То, что жители 470 деревень будут за много километров добираться до магазинов, не имеет значения. Могло быть и хуже, если в одной из деревень был бы построен универмаг на пару тысяч квадратных метров. Тогда такая участь постигла бы все 540 деревень, кроме одной. Как видите, экономика — такая же основа социализма, как и капитализма, только капитализм справлялся с ней много лучше и к выгоде жителей деревень, а не плана.

Совершенство и бедлам социализма

И все же, несмотря на бедлам, социализм в СССР является совершенным. Почему? Во-первых, потому что все социализировано и национализировано: дальше некуда. Во-вторых, система

национального планирования охватывает всё огромное общественное хозяйство и всю огромную страну. И эта чрезвычайно сложная система сама по себе отработана в СССР до ее возможного предела совершенства. Нигде и никогда в мире не существовало и не существует более совершенной системы управления в таком огромном масштабе. То, что эта совершенная система социализма приводит к бедламу и к фактам поразительной глупости и подлости, по существу дела, не ее вина. Это есть результат абсолютной несовместимости человеческой природы с обобществленным хозяйством и также крайней ограниченности способностей человеческих мозгов. Этих мозгов, как правило, недостаточно для осмысления самых простых фактов жизни, что же говорить о невероятно сложном хозяйстве 260-миллионного народа. Эта невероятная сложность и превращает вполне разумных и честных (на обычном уровне) людей (управляемых и управителей) в идиотов и подлецов, как только они начинают что-то делать. Именно это и создает парадокс сосуществования и социалистического совершенства и социалистического бедлама. Несоответствующая природе человека система социализма приводит неизбежно к несоответствующим по человеческому суждению результатам.

Общее положение

Общее положение в гражданском хозяйстве настолько ухудшилось, что пришлось снижать официальные цифры "достижений народного хозяйства". Это не значит, конечно, что эти цифры стали верными: они все так же врут. Однако трудно показывать большой рост выпуска гражданской продукции, если даже в самой благополучной Москве очереди за обувью, за зубной пастой, за сосками, за эмалированной посудой, за хорошими книгами и т.п. Нечего говорить о мясе или рыбе и других ценных продуктах, которых и всегда не хватало. Можно подумать, что это все досадные частности, не мешающие людям неплохо, в среднем жить. Однако совершенно объективная и даже официальная информация показывает, что жизнь и вообще в СССР за последние годы существенно ухудшилась. Эта информация — официальные цифры детской смертности и средней продолжительности жизни.

Детская смертность на 1000 рождений достигла в 1971 году минимума в 22,9, затем каждый год стала увеличиваться и достигла в 1974 году цифры 27,9. После этого цифры опять стали секретными. Для сравнения: в Японии 10,8 и в США 16,7. Средняя продолжительность жизни мужчин достигла максимума в 1965 году в 66 лет, а к 1971 году снизилась до 64 лет. После этого и эти цифры стали секретными. Для сравнения: в США в 1975 году — 68,7. Дело в том, что записать бракованные сапоги в годные или записать 10 тонн стали, как 12, легко доступно для выполнения и перевыполнения плана. Однако в Записях Актов гражданского состояния (не планируемых) поставить 10 покойников вместо 20 мало кто решится, да и поощрений за это еще не придумано. Вот и приходится засекречивать.

Суть ситуации вполне ясная. В гражданском хозяйстве население все в большем и большем масштабе перестает работать так, как полагается. На каждого рабочего, производящего ту или иную технику, приходится по последним данным держать по 3 человека ремонтников, чтобы она как-то действовала. К этому следует добавить, что основная гражданская промышленность уже имеет приличный возраст и устарела. Одновременно население начинает усиленно заниматься перераспределением общественного продукта своими частными средствами. Поскольку забастовки и повышение зарплаты этим путем запрещены, то распространяется страшное воровство и взяточничество. По безусловно заниженным официальным (секретным) данным крадется 10-12% всего валового производства и товарооборота. В строительстве крадут 15-17% стоимости строительства. В стране появилась и последнее время быстро развивается подпольное производство и подпольная торговля для себя, а не для государства. Их объем по умеренной оценке достигает сейчас 10-15% всего национального продукта. Все это является безошибочным признаком даже не застоя, а именно ухудшения жизни в СССР и признаком полного отрицания социализма населением.

Что делать?

Самый совершенный в мире социализм, таким образом, едва достигнув апогея, начинает скоропостижно разваливаться. Как и

везде, виноваты в этом сами трудящиеся и они же сами и несут на себе всю тяжесть последствий. И все же они ничего сами сделать не могут: такова их человеческая природа. Социализм, отрицая (в принципе) эгоистические стимулы, не имеет в своем арсенале ничего для их эффективной замены. Социалистическое соревнование, труд во имя чести, доблести и геройства, идеи равенства и братства, как показал многолетний опыт СССР, совершенно непригодны в качестве стимулов. Эти, фактически, суррогаты по отношению к человеческой природе только приводят к неконтролируемому невероятному расцвету именно эгоизма, который превращает единую волю социализма и наиболее совершенную систему планирования в развалины. Этот опыт СССР превосходно показывает, что капиталистическая конкуренция и свободный рынок являются куда более эффективными средствами для ограничения разгула человеческого эгоизма. (К несчастью, монополизм Запада уже тоже перестает в силу свойств монополий ограничивать этот разгул).

Равенство, братство, милосердие, самоотверженность, вера, духовность! Какие прекрасные чувства! Как их развивать, взращивать? Осуществленный, по крайней мере в 20 странах, социализм ярко продемонстрировал, что эти чувства и действия не развиваются официально, по принуждению, даже если вера есть вера в социализм, а духовность тоже социалистическая. Наоборот, они начинают расцветать, будучи подавляемы социализмом, которому их окраска губительна.

Эти чувства и действия всегда были и останутся совершенно личными. Мне кажется, что их должно быть больше, когда человек достигает своей творческой (не разрушительной) личной свободы (и ответственности) от диктата многочисленных хозяев в виде чрезмерных государства, партии, профсоюзов, корпораций. Когда их власть над ним будет ограничена строго необходимой мерой. Нечего удивляться, что в СССР не только правителям, но и самим трудящимся приходится вспоминать Сталина, который умел так эффективно использовать универсальный стимул страха и заставить всех работать и подчиняться. Однако вспоминать или даже пытаться вернуть сталинские методы бесполезно. И управители и массы больше не верят в социализм и найти достаточное число (миллион) фанатичных исполнителей-палачей для

возвращения сталинских способов управления невозможно. Идея, питавшая фанатизм, сгнила, навербовать палачей за рубли или за снабжение в закрытом распределителе не удастся. Осудить незаконно диссидента еще можно, а вот пытать или расстреливать *массы людей* — на это согласятся немногие. Социалистическая мораль (социализм — все, человек — ничто) тоже сгнила.

Конечно, пока у населения нет сильной альтернативы и организации, власть все еще сильна и может причинить много бед и населению и всему миру (особенно). Все же что-то нужно делать, чтобы отсрочить крушение. Власть идет на все тяжкие. Выпускают евреев и других опасных личностей за границу. Запускают в производство джинсы. Допускают в страну рок-энд-рол. Пытаются превратить религию в официальную отрасль социализма. Вспомните Сталина: тоже этим не брезговал. Каких только мер не принимают для отвлечения внимания от мрачной действительности!

Параллельно, стараются продумать пути спуска социализма на тормозах так, чтобы власть сохранить. Конечно, спуск этот возможен только с помощью других стимулов, свойственных человеческой природе более, чем неэффективные теперь (нет энтузиазма) "равенство и братство". Не сомневаюсь, что мысли обращаются и к НЭПу с вариацией в виде НЭПа № 2. Суть дела в том, что НЭП № 1 действовал в условиях еще непорочности идей социализма. Поэтому он и закончился не разрушением власти, а победой ее. Едва ли НЭП №2 окажется таким управляемым.

Так или иначе, рано или поздно, но социализм в СССР и в мире обречен. Однако до своего развала он может истребить и обратить в рабство еще десятки миллионов людей. Люди должны принимать срочные меры, чтобы этого не случилось.

А. П. Федосеев

О ДИССИДЕНТСКОМ ДВИЖЕНИИ В ЮГОСЛАВИИ

I

В начале февраля этого года на одном из Белградских кладбищ произошло странное и для Югославии необыкновенное событие. Хоронили известного Белградского адвоката, бывшего партизана и комиссара, одного из ближайших друзей Милована Джиласа — Йована Баровича. При огромном скоплении народа, но без музыки, полагающейся при похоронах бывших комиссаров, выступали ораторы почти из всех югославских республик. На похоронах присутствовал Милован Джилас и нынешний посол Соединенных Штатов в Югославии — Лоренс Ингелбергер. Необыкновенно большое число западных корреспондентов смешались с не меньшим числом сотрудников югославской политической полиции.

На похоронах выступил и бывший генеральный секретарь массовой культурной хорватской организации "Матица Хорватска" — Йозо Ивичевич. В своей речи он выразил признательность и благодарность многих политзаключенных из Хорватии, бывших подзащитных умершего адвоката. Он символически возложил на могилу горсточку земли, несколько камешков и сосновых шишек из разных областей Хорватии. Выступали и представители албанского меньшинства, бывшие политзаключенные, которых Барович бесстрашно защищал в югославских судах.

Для Югославии это было в самом деле невиданное событие: бывший секретарь разгромленной за национализм в 71-м году

По-английски эта статья появилась в журнале "The Washington Quarterly", Autumn 1979.

хорватской организации, к тому же отсидевший несколько лет в тюрьме, бывшие узники югославских тюрем, осужденные за албанский национализм, бывшие заключенные из Белграда, Сараево, из Черногории, Македонии, бывшие заключенные всего политического спектра — солидарно выражали свое горе и благодарность белградскому адвокату. Необычайность этого факта состояла в том, что первый раз после Второй мировой войны представители разных национальностей и разных политических убеждений совершенно открыто выступили публично, объединенные смертью Йована Баровича. С тех пор как существует титовская Югославия, такое собрание представителей разных национальностей, областей и республик, возможно, было лишь в рамках Союза коммунистов. Участники же этого собрания были известные югославские диссиденты и бывшие политзаключенные.

Смерть адвоката Баровича 6-го февраля с.г. при довольно загадочных обстоятельствах в автомобильной катастрофе была отмечена в мировой печати. В западноевропейской прессе, совершенно серьезно высказывались предположения, что Барович был убит югославской политической полицией в подстроенной катастрофе. Дело в том, что смерть Баровича совпала с кульминационной точкой политически-пропагандной кампании Союза коммунистов Югославии против начавшегося в 78-м году объединения югославских диссидентов разных национальностей в единое общеюгославское правозащитное движение. Белградский адвокат, защищавший обвиняемых в политических преступлениях по всей Югославии, был в центре этого движения и был одной из самых важных его фигур. Именно в доме Баровича состоялась в мае 78-го года интереснейшая первая встреча нескольких самых выдающихся хорватских диссидентов (приехавших из Загреба) с диссидентами сербскими. Газетная кампания велась в течение лета и осени 78-го года, и началась она после поездки Милована Джиласа в Загреб на встречу с хорватскими инакомыслящими. Особенную силу газетная атака против объединения инакомыслящих приобрела в декабре 78-го и январе 79-го годов, когда с резкими, ругательными речами, осуждающими "новую тактику объединения наших врагов" выступили самые высшие руководители коммунистической

партии на 2-м пленуме Центрального комитета 19-го декабря. На два дня позже выступил сам президент Тито с угрожающей разгромной речью. Корреспондент газеты "Вашингтон Пост" в Белграде Майкл Добс напечатал об этом пространную статью в номере от 24 декабря.

Для многих на Западе, особенно в Америке, статья Добса и происходящее в Югославии были полным сюрпризом. Особенной неожиданностью явилось существование объединенного диссидентского движения, так как годами, благодаря югославской официальной пропаганде и открытой вражде разных национальных эмиграций из Югославии, на Западе утвердилось мнение, что единственной объединяющей силой в многонациональной стране является титовская коммунистическая диктатура.

В то время как о правозащитных движениях в Советском Союзе и в большинстве восточноевропейских стран в западной прессе много пишут — странное молчание, особенно в американской прессе, многие годы окружает происходящее в Югославии. На Западе, главным образом, известны имена только двух инакомыслящих, неоднократно судимых за свои выступления в западной прессе (Милован Джилас и Михайло Михайлов). Существует даже такое убеждение, что большинство югославских политзаключенных, это — либо симпатизирующие Советскому Союзу так называемые "коминформисты", либо хорватские сепаратисты, мечтающие о развале страны и создании независимой Хорватии. Конечно, по чисто практическим причинам общественность демократического мира, а тем более его государственные деятели, не могли и не могут иметь никаких явных политических симпатий ни к "коминформистам", ни к сепаратистам. Кроме того, с 1948 года, с момента разрыва между Тито и Сталиным, западный мир экономически и политически оказывал решающую поддержку первому независимому от Москвы коммунистическому государству. Югославскому вождю и югославской монопольной партии многое, иногда чересчур многое, прощалось, благодаря той пользе, которую для демократического мира принес раскол Югославией монолитного коммунистического движения. И хотя этот раскол произошел 30 лет назад, такое отношение к Югославии по

инерции продолжается. Только этим можно объяснить тот факт, что Югославия является единственной коммунистической страной в Европе, на которую радио "Свободная Европа" не вещает. Только эта инерция объясняет тот факт, что передачи "Голоса Америки" на Югославию почти не отличаются от югославских радиопередач, разве что произношением дикторов. О том, что это — результат политики Государственного департамента, писал известный американский журналист Джэк Андерсон в газете "Вашингтон Пост" от 23-го декабря 78-го года. Очевидно той же политической инерцией объясняются слова президента США Картера в его приветственной речи по поводу последнего визита президента Тито в Америку в марте 78-го года: "Тито является героем и символом свободы". Едва ли президент Картер произнес бы эти слова, если б знал истинное положение дел в Югославии, если бы знал, что огромное число инакомыслящих, с восторгом приветствовавших Картера в первые дни его правления, после такого приема Тито потеряли к американскому президенту всякое доверие.

За последние годы Соединенные Штаты стали защищать демократические права в союзнических, но авторитарных странах. Однако правительству США не хватает еще смелости выступить в защиту прав человека в коммунистических, но "союзнических" странах. Ярким примером того служит Югославия. Иллюстрацией тому, как далеко может зайти такого рода политический "прагматизм", являются отчеты комиссии американского Конгресса по наблюдению за условиями выполнения хельсинкских соглашений, в соответствии с которыми единственной европейской страной, в которой соблюдаются права человека, — оказалась Югославия.

II

И тем не менее Югославия, маленькая, небогатая страна, сейчас стала ретортой, где бурлят видимые социально-политические и невидимые духовные процессы, в которых зарождается будущее коммунистического мира, и даже м.б. всей Европы. Югославия едва ли не единственная страна в мире, которая для того, чтобы продолжить свое существование,

принуждена разрешать почти все противоречия, которые в наши дни раздирают человечество. Другой такой страны, кроме СССР, нет. Однако там давление тоталитарной диктатуры настолько сильно, что о разрешении каких-либо противоречий пока что и думать невозможно. Все то, за что ведет борьбу молодежь на Востоке (демократизация, свобода слова и культуры, децентрализация хозяйства и т.д.), в Югославии в некотором смысле начало осуществляться вопреки, а не благодаря монопольной власти Союза коммунистов.

Через Югославию проходит граница меж Восточной и Западной Европой: западная часть страны — католическая, восточная — православная. Кроме все еще продолжающегося противоречия между социализацией в экономической сфере и полной монополизацией сферы политической, Югославию раздирают противоречия и культурно-экономические: районы со среднеевропейским промышленным уровнем на севере страны и азиатской неразвитостью на юге. Так же, как и в Советском Союзе, в Югославии множество языков и религий, включая магометанскую. Но преимущество Югославии перед Западной Европой в том, что Югославия, в основном, уже пережила болезнь тоталитаризма, а преимущество перед Восточной Европой, что, отталкиваясь от советского сталинизма, она, хоть и не быстро и не всегда добровольно, двинулась к демократии, правда, не к капиталистической и, правда, не во всех сферах. Все-таки, по-моему, в Югославии создались предпосылки для разрешения противоречий Запада и Востока. Эти противоречия в сочетании с геополитическим положением Югославии, находящейся на стыке не только двух культур, но и двух враждующих социальных систем, если не будут разрешены, то несомненно приведут к дезинтеграции страны. Перед Югославией, одновременно со смертельной угрозой, появилась возможность пробить брешь в будущее человечества.

Такое критическое положение народов, населяющих Югославию, в некотором смысле исторически традиционно: ведь еще во времена магометанских нашествий на Европу народам теперешней Югославии было дано название "antimurales christianorum" ("щит христианства"). Опыт Чехословакии, Польши, Венгрии показывает, что в подсоветских странах

никакое радикальное движение к демократии в ближайшем будущем не может дать ощутительных результатов. Оно всегда будет подавляться извне до тех пор, пока положение не изменится в самом СССР. Поэтому, мне кажется, значение югославского примера для всей Восточной Европы невозможно переоценить.

Поразительна структуральная тождественность между СССР и Югославией. Иногда кажется, что маленькая балканская страна является только в десять раз уменьшенным Советским Союзом. Оба государства почти что ровесники. Оба создались в результате Первой мировой войны, на развалинах империй: СССР — Российской, Югославия — Австро-Венгерской. Новая коммунистическая Югославия, возникшая во время Второй мировой войны, ровесница советской восточноевропейской империи. Существует полная историческая синхронность (но не тождественность) в развитии Югославии и Советского Блока. Так, например, 1948-й год был началом самостоятельного пути югославских коммунистов, до того времени слепо следовавших за Кремлем, и тот же год для восточноевропейских стран был годом окончательного порабощения. И наоборот, переломные годы — с 53-го по 56-й, — приведшие к хрущевской десталинизации, в Югославии означали окончание радикального отталкивания от Советского Союза, ликвидацию внутрипартийного стремления к плюрализму и заключение в тюрьму на долгие годы второй фигуры в государстве и партии — Милована Джиласа.

Хотя в Югославии живут четыре словянских народа и крупные неславянские меньшинства, у наблюдателей югославских событий часто возникает впечатление, что нетерпимость между двумя наиболее многочисленными народами страны — сербами и хорватами — коренная проблема. Но это весьма упрощенно, хотя в этом и есть доля правды. Положение сербов, самого многочисленного народа Югославии, можно сравнить с положением русских в Советском Союзе. Сербы — самая сильная связующая сила в стране. В то же время сербы духовные наследники православной Византийской культуры, непрошедшие через западноевропейскую школу правосознания, через которую история провела хорватов. Поэтому здесь можно

наблюдать столкновение двух культур: западноевропейской (католической) и восточноевропейской (православной). Дело только осложняется тем, что языки обоих народов почти тождественны. Сербской центростремительной тяге в течение полувека югославской истории всегда противостояла хорватская центробежная, иногда вырождавшаяся в крайний национализм (даже нацизм) и сепаратизм. Можно сказать, что дело не в том, что хорваты (я опять подчеркиваю, что это крайне упрощенная схема) против сожительства с сербским народом в одном государстве — ведь сама идея Югославии, государства южных славян именно хорватского, а не сербского происхождения, а оба народа географически настолько смешаны, что какое-либо разделение страны абсолютно невозможно. Дело во влечении, присущем хорватскому народу, к демократическому правовому строю западноевропейского типа. Сербам приписываются все грехи коммунистической системы, что, конечно, несправедливо. Это значит валить на чужие плечи и свой собственный грех, пусть несколько меньший. Придет время и люди поймут, что все народы, пережившие тоталитаризм, более или менее виноваты в нем, хотя бы даже несопротивлением.

Упрощенно говоря, когда речь идет о сербско-хорватском споре и о существовании единого государства, то правда на стороне сербов. Но их неправда в том, что такая единая Югославия мыслится возможной только авторитарной и недемократической. Правда же хорватов в том, что Югославия должна быть демократической, а неправда в том, что поскольку это якобы невозможно, то следует отделиться. Можно сказать, что все было бы очень просто и легко решить, если бы сербы считали, что демократический строй более ценен, чем единое государство, а хорваты — что демократия более важна, чем независимое национальное государство. Значит решение вопроса, как и во всех многонациональных и смешанных государствах, можно найти только на основании наднациональной демократической идеи.

Духовной предпосылкой для основания Югославии была наднациональная идея государства южных славян, в которое должна была быть включена и Болгария, чего не произошло. Основанием государства в 1918 году эта идея была осуществлена

и тем самым исчерпана. Югославия, раздираемая социально-политическими противоречиями кое-как продержалась до начала Второй мировой войны и разлетелась на части от удара немецкого кулака.

Новая Югославия была создана на наднациональной идее, на этот раз коммунистической, в настоящее время тоже изжившей себя. Поэтому и можно было десять лет тому назад наблюдать процесс становления обособленных национальных республиканских коммунистических партий в пределах страны. Чистка в Хорватии в 1971 г. и в Сербии в 1972 г. остановила такое развитие. Но главное дело в том, что Югославия не может долго существовать, не имея наднациональной идеи. Этой третьей, по югославскому счету, наднациональной идеи пока нет, хотя думается, что ею должна была бы быть идея демократического, плюралистического социализма, ничего общего не имеющего с однопартийностью, пусть даже раздробленной на несколько национальных компартий. Единое югославское государство в будущем сможет существовать исключительно на демократических основах. Только *свобода* подлинно объединяет.

Благодаря тому, что в Югославии борьба со сталинизмом возникла не в результате общенародного порыва к демократии, а велась "сверху", коммунистической партией, и методами типично сталинскими, к сожалению, нужно признать, что идея диктатуры и насилия не совсем еще изжита, и это представляет большую опасность для будущего страны, особенно оттого, что демократический мир не поддерживает демократические силы в стране, и поэтому оппозиционные настроения часто кристаллизуются вокруг левых антититовских движений. Думаю, что после ухода Тито, в Югославии произойдет своеобразный "двадцатый съезд" с осуждением культа личности югославского диктатора, но тут надо иметь в виду, что такое осуждение может произойти и с просоветских позиций. Вторичное подчинение Югославии Москве было бы трагедией равнозначной распаду страны, не говоря уже о том, насколько бы такой оборот дела отрицательно повлиял на попытки демократизации в Советском Союзе и на положение в Западной Европе.

Если Югославии не удастся сделать рывок к демократии, во

многом благодаря близорукой политике демократического мира, и если она в будущем потеряет теперешнюю относительную независимость, то несомненно прошедшие четверть века, вопреки всем отрицательным явлениям, сохранятся в народной памяти как идиллические времена.

III

Все познается в сравнении. И несмотря на то, что люди, приезжающие из Советского Союза, поражаются "западности" Югославии, теперь уж нет никакого сомнения, что в настоящее время в стране меньше свободы, чем, например, в Польше, а в некоторых сферах культуры даже и в Венгрии. Несмотря на свободный рынок (однако с социализированной экономикой), на почти открытые границы (заграничные паспорта не выдают только политически неблагонадежным), на тот факт, что в Югославии свободно продается западная пресса (хотя на прилавки не попадают те номера газет и журналов, где есть критические статьи о Югославии), что в Югославии печатается много религиозной литературы (однако не продающейся в книжных магазинах, а главным образом в церквах), — несмотря на все это, в самой важной идеологической, политической, организационной и информационной сферах Югославия ничем не отличается от всех однопартийных коммунистических стран. В стране все еще всякие независимые от партийных догм высказывания осуждаются как "вражеская пропаганда". Несмотря на раннее осуждение сталинизма, миф о Ленине и Октябрьской революции остается непререкаемой святыней. Марксистское образование и воспитание на всех уровнях, как и в других коммунистических странах, является неотъемлемой частью жизни югославских народов.

Если в наше время Югославия чем-то и отличается от других восточноевропейских коммунистических стран, то только неимоверно разросшимся культом личности вождя партии и государства. Надо только пройти по югославским улицам да почитать югославскую прессу, чтобы получить представление о том, сколько школ, улиц, парков, казарм, городов и сел носят имя Иосифа Броза-Тито. Нет никакого сомнения в том, что после его ухода либо просоветские, либо демократические силы

должны будут провести радикальную "детитоизацию" в интересах привлечения народных симпатий.

В последние годы после разгрома, последовавшего за периодом либерализации с 1966 по 1971 год, снова неимоверно усилилась деятельность политической полиции УДБа, расширившей свою деятельность и на заграницу.

Кто же такие югославские диссиденты, откуда они появились и почему югославская компартия настолько встревожена их объединением?

Грубо говоря, в Югославии все началось с 1966 года, со времен большой чистки югославских органов безопасности и падения долголетнего всемогущего шефа этих органов Александра Ранковича. С 1966 по 1971 год шел процесс либерализации по всей стране, однако принял разные формы в Хорватии и Сербии. Либерализация привела к сравнительной независимости республиканских партий, и в Хорватии эта независимость получила сильную национальную окраску. В декабре 1971 года Тито разгромил Центральный комитет хорватской партии, и тысячи партийцев были вычищены из аппарата власти, а сотни попали в тюрьму. В следующем году почти то же повторилось и в Сербии. В настоящее время можно сказать, что во всех югославских республиках существует *потенциальная* более либеральная партия из этих вычищенных из партии людей. В определенных условиях в течение нескольких месяцев эта вторая партия могла бы реально организоваться.

Как и всегда после чисток и опал многие люди меняют свои убеждения, и поэтому тысячи бывших партийцев, переставших быть членами Союза коммунистов Югославии в 1971-72 гг., ныне стали сильным резервуаром диссидентского движения. Можно сказать, что Милован Джилас, прошедший тот же путь на 20 лет раньше, является крупнейшим представителем именно этой части политически инакомыслящих в стране. Почувствовав опасность развития в направлении либерализма в этой массе бывших партийцев и зная о существовании сильных симпатий либерального крыла партийного и государственного аппарата к Джиласу, в прошлом году югославские власти практически в первый раз решили прекратить молчание о деятельности Джиласа, и в Югославии была напечатана огромная, в двух

томах, в 900 страниц, книга под названием "Либерализм от Джиласа до наших дней". В этой книге, появившейся весной 1978 года во всех югославских книжных магазинах, Джилас представлен реакционным мракобесом и "слугой империализма" и доказывается, что либеральная часть партийного аппарата, разгромленная 8 лет назад, шла именно джиласовским путем.

Вторая часть диссидентского движения состоит из людей, осуждаемых, и даже отсидевших в тюрьмах определенный срок, за уклон хорватского национализма. Это не всегда бывшие члены партии. Хотя в настоящее время с большой долей вероятия можно утверждать, что подавляющее число хорватов в условиях свободы проголосовали бы за независимое хорватское государство, однако самые ответственные представители хорватского народа понимают, что раздел такой смешанной многонациональной страны, как Югославия, практически невозможен и выбор состоит только в том, будет ли страна тоталитарной или демократической, а не в том, быть ли единой Югославией или самостоятельным Хорватским государством.

Третьей частью диссидентского движения являются сербские либералы, не имеющие выраженной национальной окраски и иногда даже принадлежащие к так называемой "новой левой".

Четвертой частью движения является группа очень влиятельных профессоров Белградского университета, выброшенная из университета в связи с разгромом и запрещением либерально-марксистского журнала "Праксис" в 1975 году. Хотя в то время, когда журнал печатался, эти профессора, его сотрудники, не выступали за политический плюрализм, а лишь критиковали партию с позиции "самоуправленческого" социализма, однако гонения на них, очевидно, имели положительное влияние, и эта группа реально создала первый югославский Самиздат (открытые письма, петиции в защиту прав человека, направляемые Белградской конференции, правительству, партийным и государственным органам) и теперь эта группа открыто выступает за политический плюрализм и политически и идеологически сходится с Джиласом.

Совершенно отдельно от всего этого движения стоит подпольная югославская коммунистическая партия, имеющая две

фракции просоветскую и прокитайскую. Вожди обеих фракций Милета Перович — просоветской и Влада Дапчевич — прокитайской были два-три года тому назад похищены, один из Швейцарии, а другой из Румынии, присуждены к 20 годам тюремного заключения и теперь находятся на каторге. И несмотря на то, что идеологически между симпатизанами подпольной компартии и югославским диссидентским движением, важнейшей фигурой которого является Милован Джилас, нет ничего общего, тем не менее можно сказать, что все чаще эта антититовская оппозиция "слева", особенно в тюрьмах, сотрудничает с диссидентским движением в борьбе за уважение законности и прав человека. Чрезвычайно интересно (в интервью в газете "Ди Вельт" от 27 марта 1979 года) Джилас попытался объяснить Западу, что опасность повторного порабощения Югославии Советским Союзом отнюдь не угрожает со стороны этой малочисленной и 30 лет гонимой в концлагерях и тюрьмах подпольной коммунистической партии, а наоборот — величайшая опасность в том, что именно нынешний партийный и полицейский аппарат в интересах сохранения монополии власти после ухода Тито свяжется с Советским Союзом.

Вот поэтому так опасна и ошибочна нынешняя безоговорочная поддержка Соединенными Штатами югославского режима. Надо не забывать, что Тито не вечен и что у его наследников из-за сильнейшего брожения и диссидентского движения в стране не будет другого пути как связаться с Советским Союзом. К тому же с каждым днем положение в стране ухудшается, и все более догматические элементы партии берут верх.

Подпольная компартия, сумевшая даже организовать подпольный съезд в стране в 1974 году, в демократических условиях никакой реальной опасности бы не представила. По всей вероятности, на свободных выборах получила бы несколько процентов голосов и печатала бы какой-нибудь малотиражный левый орган. Нельзя забывать, что с этими людьми связана правда о югославских концлагерях, о которых в отличие от советских все еще нельзя упоминать без опасности быть арестованным. К тому же между этими людьми, пережившими концлагеря под кличкой "сталинцы", и советскими сталинцами нет ничего общего. Долго-

летним всемогущим шефом партии и политической полиции в Югославии был именно Тито, а не Сталин.

Также можно сказать, что демократизация и свободная открытая деятельность хорватских националистов уменьшила бы, а то и полностью сняла, опасность для единого государства сильных сепаратистских настроений в Хорватии. Примером того, насколько притягательна для людей свобода, является южная часть Югославии, населенная почти одним миллионом албанцев. Несмотря на очень сильный национализм и тяготение к объединению с Албанией, можно сказать, что только несколько сотен албанских интеллигентов и студентов находятся в югославских тюрьмах как политические заключенные. Дело в том, что Югославия все еще намного свободнее соседней Албании, и широкие слои албанского народа это прекрасно знают. Если бы каким-то чудом Албания превратилась в демократическое государство, не было бы той силы, которая могла бы удержать в границах страны Косово, югославскую область, населенную на 90 процентов албанцами.

Вот поэтому совершенно неверно, что диктатура Союза коммунистов является объединяющей силой многонациональной страны. Для того чтобы сохранить свое единство, Югославия должна быть ощутительно свободнее, чем ее соседи, и можно сказать, что именно деятельность партии и политической полиции, особенно в последние годы, является опаснейшей угрозой единству и независимости страны.

После 30 лет югославского опыта, после последних чисток в 1971-72 годах, в начале 1978 года до тех пор независимые друг от друга, а часто и враждующие между собой течения инакомыслящих в Югославии объединились. И хотя речь идет не об организационном объединении, так как при однопартийном режиме всякое политическое объединение сурово карается, а просто о частых контактах диссидентов, о согласии, что важнейшим вопросом в Югославии является *демократизация* и что необходимо все сделать, чтобы избежать страшнейших зол: потери независимости и подпадения под советскую власть, а также межнациональной вражды и гражданской войны (а эти опасности очень усилились за последние годы политики зажима, проводимой Тито). Ведь Тито десятилетиями оправдывал свою

диктатуру именно тем, что он якобы — гарантия против потери независимости и против межнациональной вражды. И вдруг появилась независимая и оппозиционно к его власти настроенная общеюгославская, пока еще только духовная, идейная сила, показывающая всем, что болезнь, которую якобы лечил Тито, именно им и вызывается.

IV

Надо сказать, что в Соединенных Штатах мало людей поняли значение объединенного югославского диссидентского движения и взволнованности всемогущей югославской монопольной партии. В Западной Европе за последние годы отношение к югославским внутренним событиям изменилось. Особенно из-за целой серии загадочных убийств корреспондентов и издателей эмигрантской югославской прессы, убийств, логически приписываемых югославской Государственной безопасности. В начале этого года английское телевидение передавало пятидесятиминутную программу об этих убийствах. Шведская и голландская пресса постоянно печатает интервью с ведущими югославскими диссидентами из Белграда и Загреба. Этим путем идет и австрийская и западногерманская пресса.

Соединенные Штаты в своей внешней политике, к сожалению, опаздывают, но сейчас как будто некоторые сдвиги можно наблюдать и в Америке. Присутствие американского посла на похоронах адвоката Баровича, одной из центральных фигур югославского объединенного диссидентского движения, довольно показательно. Также в первый раз после 1946 года в Америке под покровительством демократического интернационала основан комитет для поддержки югославских диссидентов, о чем можно прочесть во влиятельном американском журнале "Нью-Йорк Ревью оф Букс" от 19 июля 1979 года.

Значение югославского объединенного диссидентского движения невозможно переоценить, и поэтому так важно было бы изменить официальную политику, не позволяющую американским радиостанциям передавать в Югославию информацию о внутриполитическом положении в стране. Хорошо известно, насколько диссидентское движение зависит от свободной информации.

Благодаря многим историческим обстоятельствам, Югославия подошла к самому порогу, с которого возможно или перейти в демократическое плюралистическое общество, или скатиться обратно в тоталитаризм. Дилемма западной дипломатии: или поддержка диктатуры Тито, или подпадение Югославии под влияние Советского Союза и распад страны — совершенно ошибочна. Именно теперешний режим ведет страну прямо к потере независимости и возможной национальной междоусобице. Поэтому безоговорочно поддерживать титовскую власть и не обращать внимания на диссидентское движение с той близорукой логикой, что Тито — союзник против Москвы, — значит толкать страну к захвату ее Советским Союзом.

Михайло Михайлов

"ХОЛОДОМ ВЕЕТ ОТ КРЕМЛЯ"*

"Холодом веет от Кремля" — так назвал свою книгу Зденек Млинарж. Книга была издана на немецком языке. По-чешски книга вышла несколько позже, тоже в Западной Германии. Вскоре ожидается издание по-английски, в издательстве Karz Publisher, New York.

Зденек Млинарж родился в Чехословакии в 1930 году. С 1950 по 1955 год учился в Московском Государственном университете имени Ломоносова. После окончания Университета работал в генеральной прокуратуре Чехословакии, а позже в Чехословацкой Академии наук, в институте государства и права. В шестидесятые годы Зденек Млинарж был секретарем юридической комиссии при Центральном комитете Коммунистической партии Чехословакии. В 1968 году был избран секретарем ЦК и членом Политбюро. После оккупации Чехословакии Млинарж отказался от всех занимаемых им должностей и начал работать в Национальном музее Праги. В 1970 году Зденек Млинарж был исключен из партии.

Млинарж принял участие в переговорах в Кремле между советскими партийными руководителями и чехословацкими партийными и государственными деятелями, которые были силой увезены в Советский Союз сразу же после оккупации Чехословакии. Зденек Млинарж прибыл в Москву вместе с президентом Свобода.

В книге Млинаржа три главы. Первая — "От Хрущева к Дубчеку", вторая — "Пражская весна в правящих кругах" и

---

*Zdenek Mlynář, Mraz Prichazi z Kremlu, Index, Köln, 1978

третья — "Перед судом Кремля". В этой главе Млинарж пишет о причинах, побудивших советское руководство пойти на оккупацию Чехословакии, а кроме того, дает в ней характеристику советского руководства. Учитывая уникальный характер этой информации мы решили свести отзыв об этой книге к пересказу (с приведением цитат) этой третьей главы.

Причину военного вмешательства Млинарж видит в наличии различных групп советского руководства, между которыми в то время шла борьба за власть. В 1964 году борьба между этими группами привела к свержению Хрущева, а своего апогея борьба за ориентировку советской политики достигла в акте оккупации Чехословакии в августе 1968 года.

С точки зрения государственной внешней политики, считает Зденек Млинарж, результаты действий Хрущева можно оценивать по-разному. Критерий оценки — обеспечение интересов Советского Союза в мире. По мнению некоторых, эра Хрущева означала конец т.н. "холодной войны", эта эра уменьшила опасность военного конфликта с Западом и способствовала выгодному для СССР экономическому сотрудничеству с окружающим его миром. Она позволила Советскому Союзу проникнуть в новые районы мира — главным образом, в развивающиеся страны, причем при этом проникновении использовались другие, отличные от сталинских времен, средства. С этой точки зрения, пишет Зденек Млинарж, Хрущев несомненно укрепил позицию СССР как сверхдержавы. Но наряду с этим Хрущев потерял Китай и Албанию, не вернув при этом Югославии, и Советская Армия ушла из Австрии. Антисталинские выступления Хрущева стимулировали волнения в Венгрии, Польше, а позже и в Чехословакии. Начала нарушать дисциплину советского блока и Румыния. Коммунистическое движение вне т.н. социалистических стран стало терять свое значение как политическая агентура Москвы. А с этой точки зрения Хрущев ослабил позицию Советского Союза как мировой державы.

Зденек Млинарж считает, что после Второй мировой войны решающим элементом в механизме власти в Советском Союзе стала армия, тогда как до войны главную роль играли дипломаты и Коминтерн. Довоенная сталинская концепция упрощен-

но формулируется так: "наше то, что мы крепко держим в руках". И исходя из этой концепции эра Хрущева представляет собой целый ряд поражений. Китай стал врагом, а для советских маршалов поколения Второй мировой войны враждебный Китай был страшнее "американского империализма" где-то за океаном. И потому Млинарж считает, что именно философия советских маршалов военного поколения, разделяющих сталинскую концепцию внешней политики, была одним из важнейших факторов, обусловивших падение Хрущева, а позже оккупацию Чехословакии. А с этими маршалами были связаны и влиятельные круги в партийном, хозяйственном и полицейском аппарате СССР, круги, воспитанные на тех же сталинских принципах внешней политики — "наше то, что мы крепко держим в руках".

Отношение Москвы к событиям в Чехословакии 1968 года, как отмечает Млинарж, обусловливалось не идеологическими прениями в Политбюро КПСС о подлинном содержании социализма, а соотношением сил в советском руководстве. 26 августа 1968 года, через несколько дней после оккупации, когда в Кремле велись переговоры между советским и чехословацким руководством, Брежнев мимоходом обмолвился, что решение оккупировать Чехословакию было принято еще в мае 1968 года. Но позже это решение неоднократно обсуждалось и оттягивалось. И Зденек Млинарж убежден, что решение об оккупации Чехословакии обусловили факторы внутренней политики Советского Союза, а потому никакие действия Дубчека, никакие решения Политбюро компартии Чехословакии не могли изменить хода событий. В советском руководстве предпочли действовать в соответствии со старым сталинским принципом — "Наше только то, что мы крепко держим в руках".

Значительная часть главы "Перед судом Кремля" посвящена ходу переговоров в Москве. Дело в том, что в связи с оккупацией Чехословакии в Советском Союзе был разработан сценарий, в соответствии с которым в Чехословакии сразу же после оккупации должно было быть создано т.н. рабоче-крестьянское правительство. Это правительство должно было заменить руководящих деятелей Чехословакии, насильно увезенных в Советский Союз. Но план этот не увенчался успехом. Советские представители в Чехословакии — работники посоль-

ства СССР и военное командование — не смогли сформировать послушное им правительство. Более того, сразу после оккупации на одном из пражских заводов собрались делегаты 14 съезда партии (этот внеочередной съезд должен был состояться 9 сентября, поэтому делегаты на съезд уже были выбраны и по призыву, переданному по чехословацкому радио, съехались в Прагу). В результате в Москве вынуждены были изменить сценарий, и партнерами в московских переговорах вдруг стали те, кого должны были осудить "революционные трибуналы" — Дубчек, Смрковский, Черник и другие. Всех их делегаты 14 чрезвычайного съезда КПЧ заочно переизбрали на руководящие партийные должности.

На приезде Зденека Млинаржа в Москву настоял Дубчек. 25 августа 1968 года военный самолет с президентом Свобода и сопровождавшими его лицами приземлился на московском аэродроме. Прибывших ждали "Чайки", на которых их отвезли в правительственные виллы на Ленинских горах, неподалеку от Московского университета.

> "После тринадцатилетнего перерыва я смотрю на ту же панораму Москвы, которая ежедневно открывалась передо мною, когда я жил здесь как студент. Хорошо знакомый вид, который в моей памяти всегда ассоциировался с милыми событиями студенческих лет, вдруг снова оказался реальностью. Но всего несколько часов тому назад я был в оккупированной Праге. Москва лежала в лучах утреннего солнца, но ее застилали передо мной сцены пражских улиц, где на рассвете злостно торчали дула пушек и блуждали силуэты солдат с автоматами. Я был не в Москве своей молодости, я был в столице оккупантов. Вместо моих однокурсников меня окружали караульные КГБ — с почтением, но начеку. Абсурд этой минуты символизировал абсурд моей жизни, и мне вдруг захотелось вообще не быть".

Прибывших из Праги президента Свободу и сопровождавших его лиц отвели в одну из зал Кремля. Там уже были Черник и Смрковский. Отсутствовали Дубчек и Кригль. Зденек Млинарж хотел прежде всего переговорить с Дубчеком, но ему сказали, что Дубчек лежит и в совещании участвовать не может. Млинарж тогда пошел в комнату Дубчека.

"Дубчек лежал в кровати. Было жарко, и он слегка откинул одеяло. Он лежал полураздетый, не двигаясь, он был определенно под воздействием обезболивающих средств. На лбу был пластырь, прикрывавший рану. На лице выражение человека, одурманенного наркотиками".

В последовавших переговорах Дубчек не принимал участия. Отсутствовал и Кригль. Вообще, то, что происходило в Кремле,

— "нельзя даже назвать "переговорами". С советской стороны вплоть до момента подписания протокола вечером 26 августа с представителями Чехословакии встречалась не делегация, а только отдельные лица, предъявлявшие ультиматумы. Причины такого поведения были совершенно ясны. Целью советской стороны было не обсуждать что-либо, а добиться принятия навязанных условий капитуляции".

Между чехословацкими и советскими представителями началась "бумажная война". Принятие советских требований поддерживали в чехословацкой делегации два человека — президент Свобода и Густав Гусак, нынешний президент Чехословакии. Вот как характеризует президента Людвика Свободу Зденек Млинарж:

"По всей вероятности, Людвик Свобода по-своему оценил сложившуюся ситуацию еще в ночь на 21 августа. Свобода не был политиком-реформистом. Собственно, он не был политиком вообще. Это был солдат, офицер армии еще до Второй мировой войны, который совершенно случайно стал командующим чехословацкой части, сформированной в Советском Союзе и сражавшейся на стороне советской армии. Еще тогда во время войны Свобода поддерживал идею присоединения Чехословакии к советскому лагерю со всеми вытекающими из этого последствиями. Он был скорее просоветским солдатом, чем коммунистом... Когда в ночь на 22 августа президент Свобода сказал мне, что поедет в Москву с целью добиться возвращения Дубчека, он тут же добавил, что потом Дубчек подаст в отставку, и все будет в порядке. Тогда это меня поразило, показалось противоречивым... Но в действительности ничего противоречивого в этом не было... Свобода был против того, чтобы вопросы решали по-татарски —

уводом и убийством руководителей государства. Но Свобода не был против того, чтобы неприемлемые Москве политики были лишены власти более гуманными способами — уходом в отставку".

Советское политбюро постоянно оказывало давление на чехословацкую делегацию. Главная угроза заключалась в том, что чехословацкая делегация не уедет до тех пор, пока не подпишет ультиматум. Советская делегация, как отмечает Млинарж, постоянно подчеркивала это: "не подпишете завтра, подпишете через неделю". Сомнений в том, что советская сторона может осуществить свои угрозы, не было ни у кого, а у арестованных в первый день оккупации чехословацких руководителей были и доказательства.

"Они были в положении людей, которые уже прошли через второй этап допроса инквизиции: им показали орудия пыток. Я имею это в виду дословно, а не в переносном смысле. Я знаю, что все они уже попрощались с жизнью. Это, правда, придает силу, так как после того, как исчезает страх перед смертью, человек уже не противится судьбе. Но ситуация резко меняется, когда вместо перспективы неизбежного конца перед человеком снова открываются ворота в жизнь".

Млинарж продолжает:

"Некоторые члены чехословацкого Политбюро находились в положении людей, которых шантажируют гангстеры, а не в положении представителей государственной делегации во время политических переговоров. Мы все понимали, что в некоторых вопросах Кремль не уступит даже в том случае, если в Чехословакии произойдет большое и в политическом отношении нелепое кровопролитие. И об этом советские представители открыто заявляли членам нашей делегации... "Если возникнут конфликты с населением, то нашим войскам приказано применить оружие".

При оценке политических событий 1968 года часто высказывается мнение, что Чехословакия должна была оказать вооруженное сопротивление. Задним числом утверждают и то, что в случае сопротивления Чехословакии Советский Союз не

пошел бы на кровопролитие, которое было бы чревато серьезнейшими последствиями в международных отношениях. Млинарж же считает иначе:

> "Разбойник может добиться своей цели даже, если он только угрожает оружием. Но нелепо считать, что он ограничится угрозами и не применит оружие, если только угрозами он своей цели добиться не может. А советское Политбюро — не новичок: богатая сталинская традиция массовых преступлений, как и избиение в Будапеште в 1956 г.. совершенно ясно свидетельствовали об этом."

Чехословацкой делегации было ясно, что советское руководство под давлением положения, сложившегося в Чехословакии, вынуждено вести переговоры с Дубчеком, а потому решило использовать Дубчека и других проводников реформ 1968 года, чтобы их руками сделать то, что предполагалось сделать посредством марионеточного "революционного" правительства. Но, с другой стороны, чехословацкие представители все же надеялись, что проведение угодных Москве мероприятий будет в какой-то степени зависеть и от них самих, и думали, что компромисс открывает перед ними какие-то возможности — а по сравнению с кровопролитием компромисс казался более "приемлемым" выходом.

> "То, что наши размышления — это всего лишь гипотезы, в которых желаемое выдается за действительность, и что мы хотим видеть лучшее из всего возможного — было ясно нам всем. В личных разговорах мы давали волю сомнениям, иногда иронизировали над своей верой, а иногда просто приходили в отчаяние... И однажды меня как бы осенило... я понял, что правда проста, а народ дома сочтет это предательством".

О своем пребывании в Москве Зденек Млинарж пишет:

> "Я нахожусь сейчас в Москве — наполовину как заложник, наполовину как правительственный гость — и это логическое следствие всей моей жизни, моей собственной политической деятельности. Я сам виновник этого положения...
>
> Правда, вот уже 10 лет, как я знаю, что Москва — это рас-

садник преступления, и что преступлению я не хочу служить... Я пытаюсь изменить все это у нас в Чехословакии и при этом надеюсь, что в Москве все-таки существует искреннее желание покончить с преступлениями... И вот сейчас... Мы все несколько растеряны, видя, что советское Политбюро ведет себя как банда гангстеров".

Франтишек Кригль, член Политбюро КПЧ, не участвовал в обсуждении текстов Соглашения. Советская сторона держала его в изоляции на протяжении всего времени. Однако к моменту подписания договора в Кремль привезли и Кригля. Но Кригль был единственным, кто этот документ не подписал.

"Я помню, как Кригль говорил: "А что мне могут сделать? Сошлют в Сибирь или расстреляют? Очень может быть, но из-за этого я не стану подписывать договор". Кригль совершенно отказывался слушать все аргументы о компромиссах и возможных перспективах. Он даже не производил тогда впечатления политика — в тот момент Кригль был человеком, которому разбойники угрожают смертью, а в качестве выкупа требуют не денег, а его честь, его детей, его жену. И человек этот говорит: нет — можете убить меня!..

Последующие события показали, что поведение Кригля намного больше соответствовало реальной ситуации, чем поведение остальных, в том числе и мое. Тогда в Кремле мы действительно не были политиками, мы были простыми людьми, которых шантажировали гангстеры. Но мы ошибочно считали себя политиками, с которыми другие политики обсуждают политические проблемы".

Перед подписанием протокола его текст должен был быть рассмотрен по отдельным пунктам. В связи с этим выступил Брежнев. Зденек Млинарж рассматривает это выступление Брежнева как особенно интересное, так как Брежнев говорил то, что думал. Его обвинения по адресу Дубчека были весьма конкретны: Дубчек делал в Чехословакии то, что хотел, не спрашивая разрешения Москвы, не слушаясь советов Брежнева.

"Я ведь тебе с самого начала хотел помочь, — говорил Брежнев Дубчеку. — Я ведь тебя спрашивал, не угрожают ли тебе люди Новотного (предшественника Дубчека — Ф.С.)? Я тебя спрашивал

тогда: хочешь их снять? Хочешь сменить министра внутренних дел? Хочешь сменить министра обороны? А кого еще хочешь сменить? Но ты говорил — нет, это хорошие товарищи. А потом я вдруг узнаю, что у тебя новый министр внутренних дел, новый министр обороны...

Ведь уже в феврале я давал тебя мои замечания к твоему докладу, я говорил тебе, что некоторые формулировки неправильны. Но ты все оставил как было. Разве можно так работать?

Я тебе верил и защищал тебя, я говорил — наш Саша надежный товарищ, а ты нас так подвел" ... "При этих словах голос Брежнева дрожал. Брежнев говорил прерывисто, со слезами в голосе."

Как далее разъяснил Дубчеку Брежнев, в Москве, наконец, стало ясно, что на Дубчека полагаться нельзя, потому что речь шла уже о серьезных вещах — о результатах Второй мировой войны. Брежнев вовсе не пытался доказать, что "западные империалисты" действительно угрожают Чехословакии... Его логика была простой: мы, в Кремле, пришли к выводу, что на вас уже нельзя полагаться... А ваша страна лежит в области, куда ступила во Второй мировой войне нога советского солдата... Границы этой области — наши границы... И так будет после Второй мировой войны "на вечные времена".

Брежнев, вероятно, предполагал, что после его "понятного" выступления можно будет начать обсуждение текста протокола. Но ответ Дубчека необыкновенно разозлил Брежнева. Советская делегация удалилась из зала. Зденек Млинарж полагает, что уход советской делегации тоже был запланирован заранее — нужно было создать обстановку, в которой чехословацкие делегаты не смогут возражать. У Дубчека начался нервный припадок. Появились врачи со шприцами, но Дубчек их не подпускал к себе. Вдруг к всеобщему удивлению Дубчек заявил: "А я не подпишу, пусть делают, что угодно — не подпишу!"

Спустя некоторое время Дубчеку сделали успокаивающее впрыскивание и чехословацкая делегация — за исключением Франтишека Кригля — подписала протокол. На этом закончился период, который принято называть ПРАЖСКОЙ ВЕСНОЙ.

Франтишек Силницкий

В.Л. КОМАРОВИЧ О ХРИСТИАНСТВЕ И СОЦИАЛИЗМЕ У Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

М.М. Бахтин, Л.П. Гроссман, А.С. Долинин и В.Л. Комарович в двадцатых годах выдвинули новые принципы научного подхода к изучению творчества Достоевского и заложили прочные основы объективного изучения жизни и творчества великого русского писателя. Все четверо мушкетеров достоевсковедения родились в конце прошлого века, трое из них закончили высшую школу до революции. Первые работы Комаровича и Гроссмана, посвященные изучению творчества Достоевского, увидели свет до начала революционных событий в стране.

По-разному складывалась их судьба. Одно было у них общее, связанное с официальным отношением к творчеству Достоевского. В тридцатых годах в советском литературоведении стала доминировать вульгарно-социологическая школа и рапповская критика. Изучение Достоевского принимает упрощенный односторонний характер и сильно затрудняется. Начинают преследовать достоевсковедов, чьи взгляды не укладываются в прокрустово ложе вульгарной социологии. К ним применяются административные меры. Комаровича и Бахтина снимают с работы и высылают. Долинин и Гроссман переключаются на чисто текстологическую работу.

(Вас. Леонид. Комарович — род. 13. I. 1894, ум. 17. II. 1942 в Ленингр., во время блокады)

И хотя вульгарный социологизм был "разоблачен", и рапповцы вынуждены были охладить свой пыл, фактически их влияние сказывалось на протяжении всех сороковых годов, особенно по отношению к творчеству Достоевского. Да и в дальнейшем еще не пришло объективное суждение об идейных истоках социально-философской и религиозной мысли писателя. Г.М. Фридлендер в статье о советском литературоведении за 50 лет отмечал, что "особую трудность для исследователей, в частности для достоевсковедов в 1940-1950-х гг., представил вопрос о характере гуманизма и демократизма Достоевского, не получившего правильного решения во время вспыхнувшей по этому поводу в 1947-1948 гг. дискуссии".

Недавно умерший П. Антокольский в "Путевом журнале писателя", отмечая изменение отношения к Достоевскому в последние годы, пишет: "Отшумел и вульгарно-социологический подход к нему, когда средняя школа тщательно была отгорожена от какого бы то ни было соприкосновения с ним, когда профессора филфаков и литвузов преподносили его не иначе как черносотенцем, соратником Каткова или Победоносцева. Все это было, было, было — из песни слов не выкинешь — и прошло". В общем действительно с конца пятидесятых годов наметился поворот в трактовке творчества Достоевского, но, увы, рецидивы вульгарно-политического подхода не изжиты до сих пор.

Василий Леонидович Комарович умер до смягчения литературной политики партии по отношению к Достоевскому. И последние десять лет жизни он переключился на древнерусскую литературу, которую хорошо знал с начала своей научной деятельности. В 1920-1922 гг. он вел в Нижегородском университете семинар по "Слову о полку Игореве".

Неординарной была судьба В. Комаровича. В 1917 г. он окончил историко-филологический факультет Петроградского университета и был оставлен при кафедре русской литературы. С 1919 по 1921 г. он сдавал магистерские экзамены и участвовал в пушкинском семинаре проф. С.А. Венгерова. Этот семинар Василий Комарович посещал вместе с Юрием Тыняновым — товарищем по университету, в доме которого он часто бывал. Вениамин Каверин, на сестре которого был женат Тынянов, в своих воспоминаниях "Освещенные окна" пишет, что к Тыняно-

ву в гости приходили товарищи Юрия по университету и среди них — В. Л. Комарович, запомнившийся ему потому, что, "занимаясь Достоевским, он был похож на него".

Первую свою работу Комарович опубликовал еще в 1916 году: "Достоевский и Гейне". Тогда же им был написан очерк — "Неизвестная статья Ф.М. Достоевского "Петербургские сновидения в стихах и прозе", и рецензия на рассказы Бориса Зайцева.

Преподавая в Нижегородском университете в 1920-22 гг., Василий Леонидович читал курсы по Достоевскому, Пушкину и его времени, о Расине и его современниках и вел семинар по Достоевскому и по "Слову о полку Игореве". Одновременно в Нижегородском институте народного образования он читал курсы по Гоголю и Пушкину.

После небольшого перерыва в педагогической деятельности, Комарович с 1924 г. приступает к чтению лекций в Ленинградском университете, где он вел курс по Достоевскому. Аналогичный курс он читал в институте истории искусства. В 1928 г. ему пришлось прекратить чтение лекций по обстоятельствам не от него зависящим. И, как потом оказалось, ему больше уже не приходилось подыматься на университетскую кафедру с чтением лекций студентам. Биограф Комаровича, Т. Крюкова лаконично пишет: "с 1928 г. он занимался *исключительно* научной работой". На самом деле, ни в 1928 году, ни позже ему не приходилось заниматься и наукой.

По сообщению Е. К. Комарович, жены покойного, и дочери покойного Василия Леонидовича, проживающих ныне за границей, Комарович был в 1928 г. арестован по делу об организации и ведению философско-религиозного кружка, и затем выслан в Нижний Новгород, откуда ему было разрешено вернуться в Ленинград в 1933 г. Кстати, в этом кружке занимались лица, получившие потом известность, среди них находился и нынешний академик, который подобно своему учителю стал ученым широкого диапазона, знатоком древней и новой русской литературы.

Вина В.Л. Комаровича была не только идеологическая, но и политическая. Он опубликовал свои важнейшие исследования творчества Достоевского за границей, а не сначала в СССР. А

это значило на языке той эпохи "подрывом научного приоритета СССР", а то еще и хуже — "вражеской вылазкой".

После возвращения в Ленинград, Василий Леонидович не мог никуда устроиться на постоянное место. Ему пришлось стать своеобразным литературоведом-частником. У Комаровича был высокий авторитет в научных кругах как крупного знатока русской древней и классической литературы. Поэтому сотрудники Академии наук (Пушкинского дома) на свой риск постоянно привлекали его к текстологической работе в ряде академических изданий.

Как пишет Крюкова, "Комарович принимал участие в составлении картотеки Древнерусского словаря Института языка и мышления АН СССР, и с 1934 г. был ближайшим образом (?) связан с работой Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР". В. Комарович занимался историей русских летописей и местных легенд. Ему принадлежит несколько глав по древнерусской литературе в первых двух томах "Истории русской литературы", издававшейся Академией в 1941-1946 гг.

В. Комаровича печатали туго, с оглядкой на высшее начальство. Поэтому многие его труды по древнерусской литературе "залежались" в архивах Пушкинского дома и были опубликованы уже после его смерти, причем до 1960 г. в свет появлялись издания, в подготовке которых Комарович принимал участие.

Личный архив Василия Леонидовича погиб во время блокады или был расхищен (как полагают члены его семьи). Еще при его жизни у него произошел конфликт с одним из достоевсковедов (не будем называть его имени), который бесцеремонно использовал работы Комаровича без ссылки на него и без уместных в подобном случае кавычек.

По-видимому, "подработка" в академических учреждениях не давала достаточных средств для существования. Комаровичу приходилось браться за текстологическую работу в изданиях русских классиков, редактировать отдельные произведения. Так, в 5-м томе второго издания шеститомного собрания сочинений Пушкина им подготовлен текст "Пометок Пушкина на полях

"Опытов" Батюшкова" (1933 и 1934). В 1937 г. вышли две небольшие статьи Комаровича о сочинениях А.С. Пушкина "К вопросу о жанре "Путешествия в Арзрум" и "Медный всадник".

В 1938-1941 гг. В.Л. Комарович занимался только редактированием отдельных книг и статей, главным образом касающихся произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, поэтов пушкинского периода, наконец, поэтов-петрашевцев, что вновь приближало его к любимому писателю — Достоевскому. Для сборника "Фельетоны 40-х годов", редактором которого был Ю. Оксман, Василий Леонидович написал очерк — "Петербургские фельетоны Достоевского" (1930).

В 15-м томе "Литературного наследства" помещен его "Обзор публикаций 1917-1933 гг. — литературное наследство Достоевского за годы революции" (1934). Одновременно в немецком журнале "Цайтшрифт фюр славише филологи" им помещен очерк — "Новые проблемы исследования Достоевского (1925-1930)" (часть I, в номере 3/4 за 1933 и часть II, в 1934, 1/2/).

Для заработков ему приходилось браться за переводы. Им были переведены "Воспоминания эгоиста. Автобиографические заметки" Стендаля для 6-го тома собрания сочинений, и затем для 8-го тома стендалевская "История живописи в Италии" (1930 и 1935 гг.).

В тридцатых годах Комаровичу удалось опубликовать только одну более или менее крупную работу, это "Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд" (изд. АН СССР, 1936 г., 184 стр.).

Можно только удивляться той огромной творческой и универсальной работоспособности, которую проявлял всю свою жизнь Василий Леонидович в неблагоприятно сложившейся для него социально-бытовой обстановке на правах литератора-частника.

Остается пробел: неизвестно, что он делал в блокадные дни. К дню смерти он находился в состоянии крайнего истощения. Официальное сообщение о его смерти гласит так: "погиб во время блокады 17 февраля 1942 г.".

Семья Комаровича не была при нем в последние минуты его жизни. Она находилась тогда в пути в эшелоне с семьями ученых

и писателей, которых сначала направили в Воронеж. Е.К. и Е.В. Комаровичи пролежали в этом городе целый месяц в лазарете, "тоже чуть не умерев от той же дистрофии". После выздоровления жена и дочь ученого были направлены в Саратов, а оттуда на Кавказ и очутились затем в оккупированной немцами зоне.

В.Л. Комаровичу принадлежит наиболее глубокий и беспристрастный анализ отношения Ф.М. Достоевского к социализму — от юношеских увлечений до беспощадного обвинения в "Бесах" и в "Братьях Карамазовых".

Начинающий писатель Достоевский, автор "Бедных людей", сблизился с В. Белинским, который приветствовал появление нового блестящего таланта в русской литературе. "Неистовый Виссарион" возбудил в Достоевском живой интерес к учению утопических социалистов. Атеизм Белинского в какой-то степени заставил Федора Михайловича задуматься над сущностью религии, но не привел его в стан неверующих. Молодой Достоевский в момент знакомства с Белинским не был неискушенным слушателем и не стал на сторону идейных увлечений великого критика. Как справедливо отмечал Комарович, "Достоевский всю жизнь был духовно независимым человеком и с юношеских лет стремился мыслить по-своему. Достоевский органически не мог стать атеистом при всех колебаниях в поисках истинной дороги к Богу".

Во второй половине сороковых годов Достоевский увлекался идеями и взглядами французских социалистов-утопистов, в том числе учением Ш. Фурье. В 1847 г. Достоевский вошел в кружок петрашевцев, в 1848 г. был посетителем собраний у Спешнева, а в апреле 1849 г. был арестован и посажен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. После замены приговора к смертной казни, он был приговорен к каторжным работам в Сибири, где провел десять лет. За эти годы радикально изменились взгляды Федора Михайловича, навеянные Жорж Занд и вдохновленные учением утопических социалистов.

Как пишет В.Л. Комарович в работе "Мировая гармония Достоевского": "Согласно традиционному взгляду, основанному к тому же на собственных признаниях Достоевского, десять лет жизни в Сибири (1849-1859) бесследно стерли с его души "мечтательный вред" социальных утопий; "соприкосновение с народом"

сделало Достоевского православным и национально мыслящим человеком; так прямолинейно и просто склонен был объяснять свое перерождение сам Достоевский: "Изменило взгляды наши, наши убеждения и сердца наши... непосредственное соприкосновение с народом, — говорил он позже, — братское соединение с ним в общем несчастии, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его" ("Дневник писателя", 1873).

Комарович сомневается в полной истинности утверждения Достоевского, что источником той новой правды, которую он обрел, было "Евангелие и его самый искренний, самый правдивый исповедник, простой русский народ". Комарович пишет: "Если русский народ, вера в него как в хранителя и носителя христианства действительно были совершенно новым приобретением Достоевского за годы каторги, то можно ли это сказать о Евангелии, о христианской идее, — независимо от характера ее понимания, но только как о предмете внимания, глубокого раздумия, восторженного интереса?.. Конечно, нет! Социализм Достоевского 40-х годов был ведь ничем иным, как только своеобразно понятым христианством, и не только на каторге, но, вероятно, и прежде в Петербурге, в "эпоху самых беззаветных и страстных мечтаний" хотя бы над системой Фурье, Евангелие одинаково было настольной книгой Достоевского".

Оспаривает В. Комарович и мнение, что "Записками из подполья" Достоевский освободился "навсегда и без остатка от своих гуманно-эвдемонистических верований 40-х годов".

Верно, что Достоевского никогда не покидала мысль о путях, которые должны вести к счастью человечества, но это не социалистический путь. С социализмом он продолжал спорить всю свою жизнь. Вот что пишет Комарович по этому поводу: "От 1864 года и до конца жизни, до самой "Пушкинской речи" и "Братьев Карамазовых", Достоевский не прекращал страстной, временами ожесточенной борьбы с социализмом. В карикатурном Лебезятникове ("Преступление и наказание"), и Бурдовском ("Идиот"), в "шигалевщине" Петра Верховенского, в отдельных и как бы случайных тирадах кн. Мышкина (о социализме и католичестве), Версилова, наконец, в законченном построении "Легенды" Ивана Карамазова и прямо уже от себя в статьях

"Дневника писателя", — Достоевский неустанно, снова и снова возвращался к этой полемике, которую начал герой "Подполья". Но какие действительные явления, какие системы и имена подразумевал Достоевский в этом враждебном ему понятии "социализм" — нигде не пояснял он. Об этом можно только догадываться..."

В 1873 году в статье "Дневника писателя" о деле Нечаева Достоевский проводит некоторое разграничение и противопоставляет новому нигилистическому социализму тот старый "мечтательный" социализм, к которому он был склонен в душе в 40-х годах. "Мы заражены были идеями *тогдашнего* теоретического социализма, — напоминает Комарович слова Достоевского. Политического социализма *тогда* еще не существовало... Сущность социализма *покамест* состоит лишь в желании повсеместного грабежа... Но *тогда понималось дело еще в самом розовом и райски-нравственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда... с христианством".* "Если зрелый Достоевский отвергает прежний, утопический социализм, и тем более, политический, нигилистический социализм 60-70-х годов, то "юношеская мечта о новом "земном рае" навсегда затаилась в сознании Достоевского", — утверждает Комарович, который затем пишет: "Это явствует из того, что все герои больших романов Достоевского наделены этой мечтой, — все, как бы не разнились они между собой в других отношениях. Таковы, прежде всего, горячие отрицатели — Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов..."

Положительное значение утопического социализма в жизни Достоевского сводится только к тому, что он привлек внимание Достоевского к страданию человека и преклонению перед Христом. В.Л. Комарович в своей статье отмечает, почему некоторые социалисты-утописты обращались к образу Христа, чем социализм одно время и увлекал Достоевского: "Образ Христа в освещении человеческого героизма, как прообраз вновь ожидаемого героя; христианство первых веков, якобы ожидающее своего осуществления; носители его, распространяющие новую веру в земное братство и предчувствующие в целях будущего осуществления своего идеала — в такой стилизации гуманизма христианство пленяло воображение утопистов,

заражало их пафосом пророчеств и мессианизма". Вот это и пленяло самого Достоевского.

И, конечно, Комарович прав, когда отмечает, что вернувшийся с каторги, из Сибири Достоевский из пылкого мечтателя, склонного уверовать в осуществление утопического социализма, превратился в человека, сознающего, что основой всего должна быть христианская мораль, что социализм юного Достоевского был не чем иным,как своеобразно понятым и прочувствованным христианством.

Самым значительным вкладом В.Л. Комаровича в мировое достоевсковедение был его капитальный труд: "Происхождение "Братьев Карамазовых". Источники, записки и фрагменты". Вышел он в 1928 году на немецком языке в мюнхенском издательстве Р. Пипера, которое специализировалось на издании произведений Достоевского. Тексту публикации Комаровича предпослана вступительная статья проф. Зигмунда Фрейда, "Достоевский и отцеубийство" на 25 страницах. Всего в книге XXXVI + 621 страница. Книга эта является библиографической редкостью.

В предисловии издателей, Рене Фюлоп-Миллера и Фридриха Экстейна, рассматривается значение записных книжек Достоевского для понимания авторского замысла. Помещенные в книге рукописные страницы и заметки писателя впервые публикуются.

Перу Комаровича принадлежат шесть глав: 1. Убийство отца и учение Федорова; 2. Мужик у Достоевского и прототип старца Зосимы; 3. Четыре основополагающие идеи в учении старца Зосимы; 4. Алеша и Грушенька; 5. Византия и Рим; 6. Достоевский и Жорж Занд.

Далее в книге идет специальный раздел — рукописные выписки и заметки Достоевского, которым предпослано предисловие Комаровича и которые сопровождаются подстрочными примечаниями и заключительным комментарием исследователя. Затем идет раздел, посвященный разработке Достоевским сюжета "Великого инквизитора" и переписка писателя в связи с "Братьями Карамазовыми". Книга заканчивается замечаниями Анны Григорьевны Достоевской к истории создания романа.

В.Л. Комарович первым обратил внимание на неполноту

хранившихся у Анны Григорьевны Достоевской рукописных материалов к "Братьям Карамазовым". В 15-м томе полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского, вышедшем в 1976 г., сообщается по этому поводу следующее: "Известные нам и полностью печатающиеся в данном томе рукописные материалы к "Братьям Карамазовым", впервые частично опубликованные на немецком языке В.Л. Комаровичем (1928) и более полно на русском языке А.С. Долининым (при участии Е.Н. Коншиной и Ю. Н. Верховского, 1935), составляют лишь часть рукописей к роману, хранившихся после смерти писателя у его вдовы А.Г. Достоевской. Местонахождение другой части этих материалов, не обнаруженной в 1922 г. при вскрытии ящиков с бумагами писателя правительственной комиссией, до сих пор остается неизвестным".

К трудам Василия Леонидовича Комаровича сейчас стали чаще обращаться советские литературоведы, цитировать отдельные его высказывания, ссылаться на его работы по Достоевскому и древнерусской литературе. Но почему-то не выдвигается предложение о необходимости переиздать его важнейшие труды и в первую очередь те из них, которые вышли на немецком языке и не были опубликованы в русском оригинале.

Вениамин Каверин писал, что "Комарович был внешне похож на Достоевского. Но он и духовно, своими увлечениями религиозно-философскими вопросами, был с Достоевским. И он верил, подобно герою "Сна смешного человека", что люди могут быть прекрасными и счастливыми, не потеряв способности жить на земле..."

А. Иванов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕЙДЛЕ

Владимир Васильевич Вейдле скончался в Париже 5 августа 1979 г. В марте 1975 г. отмечалось его 80-летие. Он родился в Петербурге, где окончил историко-филологический факультет и был оставлен при Петербургском университете медиевистом проф. И. М. Гревсом. Был по настроениям близок к акмеистам, встречался с Анной Ахматовой, Осипом Мандельштамом. Юношеским воспоминаниям о том предреволюционном культурном ренессансе в России посвящена его книга *Зимнее солнце,* где ему удалось так живо и верно воссоздать климат той эпохи. В 1921-24 гг. В. В. преподавал в Петроградском университете историю западного средневекового искусства. В октябре 1924 г. приехал в Париж и прожил там больше полвека. Был профессором Свято-Сергиевской духовной академии: читал лекции по истории византийского и древне-русского искусства. После II Мировой войны преподавал в Европейском колледже в Брюгге, в университетах Мюнхена, Принстона и в Нью-Йорке. Принимал участие в международных конференциях по искусству в Западной Европе и Буенос-Айресе. Знал многих западных поэтов, ученых — Клоделя, Валери, Т. С. Элиота, Э. Р. Курциуса, Беренсона, Унгаретти. Из русских эмигрантских поэтов ближе всего был к Владиславу Ходасевичу, а его духовным отцом был о. Сергей Булгаков. Сотрудничал во многих русских журналах, газетах, а за последние тридцать лет в *Новом Журнале, Мостах, Вестнике РХД, Опытах, Новом Русском Слове, Русской Мысли.*

Во французском издательстве Галлимар вышел его

собственный расширенный перевод книги *Умирание искусства — Пчелы Аристея.* Там же вышла его книга о судьбах России: *Россия отсутствующая и присутствующая* (переведена на английский, немецкий, испанский языки). Его русские книги, кроме уже упомянутых: *Вечерний день, Задача России, Безымянная страна, О поэтах и поэзии.* Было бы желательно издать сборник его последних статей.

Многие уже считали В. В. французским писателем, но с середины 50-х гг. он писал преимущественно по-русски — это было вызвано его неполной удовлетворенностью своими французскими эссе, хотя французы признали его стилистом-мастером, а министр культуры Андре Мальро наградил его званием "Кавалера ордена литературных заслуг".

В некоторых его книгах, написанных до последней войны, есть ритм трехсложных размеров, но ненавязчивый как у Андрея Белого. А в его послевоенных книгах слышатся разговорные интонации и особый говорок, оживляющий прозу. Он считал себя, прежде всего, писателем, а не ученым, хотя и обладал огромной эрудицией, но и интуицией, которая редко встречается у академиков. Ему не нравилось, когда в печати его называли профессором или литературо и искусствоведом. Крайняя специализация ему претила. Очень удавались ему *портреты* итальянских городов — Венеции или Сьены...

Не могу дать в этой статье полную характеристику всего творчества Вейдле — именно *творчества,* потому что был он мыслителем-художником, но попытаюсь наметить отдельные темы и разобраться в его воззрениях, верованиях.

Вейдле утверждал: искусство соприродно религии, и оно медленно гибнет, когда от неё отрывается. Сверхрассудочный религиозный смысл разрушается рационализирующими и механизирующими силами. В связи с этим, В. В. вспоминает слова любимого поэта Поля Клоделя: "Хотя и скверно походить на корову, но на машину еще отвратительнее". "Искусство, — продолжает Вейдле, — может существовать и без видимой связи с религией, но при одном условии — не должна прерываться связь искусства с верой. Так художники Нового времени — Шекспир, Гёте или Пушкин жили в мало религиозном мире, но всё ещё подлинно человеческом, управляемом совестью, иначе

говоря были проникнуты тайной религии. Художник, пусть и неверующий, в своем искусстве всё же творил таинство (...). Современное искусство разлагается не потому, что художник грешен, а потому, что он, сознательно или нет, отказывается совершать таинство (...). Рассудок убивает искусство, вытесняя высший разум, издревле свойственный художнику". Здесь Вейдле совпадает с героическим "нигилистом" Мальро, который тоже утверждал укорененность искусства в религиии *(Музей без стен).* Интересны попутные замечения Вейдле, напр. о Фрейде: он вычитал свое учение об эдиповом комплексе из *Царя Эдипа:* но у Софокла есть трагедия, есть чувство греха, есть высокое страдание, а психология Фрейда механизирована и предопределена факторами сексуальной жизни. Объяснить, что происходит в настоящей литературе, психоанализ не может *(Умирание искуства).*

Вейдле написал ценные работы по вопросам поэтики, пристально занимался анализом стиля, звукописи, создал понятие *звукосмысла,* но резко отличался от т. н. формалистов и структуралистов — от Якобсона до Лотмана. Некоторые из них утверждали: поэзия (и вообще искусство) не только не дает информации о фактах, но не имеет отношения и к смыслу. Вейдле возражает: стихотворения вообще нет, если оно лишено смысла. Современные литературоведы и, в особенности, лингвисты, иногда оперируют словами, как марионетками кукольного театра. Это их занятие не бессмысленно и необходимо, но занимаясь словами, нельзя забывать о Слове-Логосе. Из западных знатоков искусства ему близки Эрих Ауербах *(Мимесис)* и, в особености, его большой почитатель Ханс Зедельмайр *(Затмение солнца).*

В книге *Задача России* Вейдле писал: "Задача эта вытекает из крещения Руси и передачей ей — Византией и в византийской форме — наследия древности. В самом общем виде она заключается в том, чтобы стать частью христианской Европы — не случайной и пассивной, конечно, но органической; не просто примкнуть к ней, а разделить её судьбу в общем деле...". Это западничество — не белинско-герценовское, а христианское, но включающее и античное наследие — общее для всей Европы. Таким же христианским западником-гуманистом был и Г. П.

Федотов, но более радикальным, утверждавшим, вместе с И. И. Бунаковым-Фондаминским, матерью Марией христианский социализм (в сборниках *Новый Град).* Но В. В. эти их взгляды не разделял. Наконец, этого же направления христианским западником был в поэзии Осип Мандельштам.

В книге *Безымянная страна* В. В. утверждал: пусть Петр вздернул Россию на дыбы и выстегал заморской плетью, но его переворот всё же был направлен *верно.* А трагедию России в Октябре, Вейдле объяснял, конечно, не русским варварством и отсталостью, а разрывом между народными массами и образованным обществом. Франция тоже одичала при Робеспьере, но оправилась, потому что там не было разрыва между верхами и низами. Западная культура, в противоположность русской, писал Вейдле, горизонтальная, а не вертикальная.

Вейдле отрицательно относился к русскому мессианизму: Россия не Мессия, но у ней есть свое призвание в Европе и она также самобытна в европейском целом, как Англия или Италия *(Безымянная страна).* Вообще несмотря на все старания недобросовестных врагов России или эмигрантских евразийцев — нельзя выселять Россию из Европы в Азию.

Нужно опять открыть окно в Европу, заколоченное большевиками, которые импортировали оттуда преимущественно Маркса-Энгельса и технику, писал Вейдле. Это окно, вместе с тем, есть и отдушина в близкое родное прошлое России — наполовину неведомое ей, украденное советской властью. Реставрации быть не может. Нужно лучшее в прошлом не восстанавливать, но вспомнить, понять, продолжить. Это значит: "Пора России опять стать Россией" — европейской и христианской. При этом Вейдле оставался резким критиком современного — духовно опустошающего себя Запада.

На вопрос иностранца: "В Россию верите?" — В. В. ответил: "Сквозь сомнения, сквозь отчаяние — верю" *(Безымянная страна).*

Свои размышления Вейдле подтверждал конкретными примерами из истории русской культуры и жизни: так, замечателен его очерк о былом благообразии русского человека и многочисленные статьи о художниках, писателях. Его книги —

это фрагментарная история творческой России (параллельная той, которую наметил Г. П. Федотов) да и творческого Запада. В. В., конечно, не был каким-то узким националистом или неославянофилом как иногда по недоразумению его называют. Корни его западничества — столь же русские, как западноевропейские.

Не знаю ни одного отзыва о трудах Вейдле в кругах т. н. третьей эмиграции. Может быть, там его даже не читают. Но в России у него немало ценителей и последователей. В одной из своих статей В. В. сетовал: нет у меня учеников. Нет, были и есть: это его бывшие студенты, а также писатели, поэты т. н. незамеченного поколения эмиграции, а теперь его оценили в Москве, о чем свидетельствует недавнее письмо москвича (в *Вестнике,* 128, 1979). Для друзей-читателей лекции и книги Вейдле — культурный семинар по истории русского искусства и русской мысли. Без ссылок на него нельзя писать о Блоке или Пастернаке, о древней иконописи или о *"Мире искусства"*.

В последние годы В.В. писал романы, рассказы (печатавшиеся в *Новом Журнале).* Не всем они нравились: в них находили сентиментализм и даже мелодраматизм. Но, видно, В. В. захотелось отойти от писания статей. Потянуло к живой жизни, даже к страстям — к тому, что может быть выражено только в художественной литературе. Мое впечатление: его повести как-то освежают после чтения многих современных худосочных анти-романов или будто бы авангардных гротесков, которые так быстро забываются, а в его *Белом платье* многое запомнилось, и я написал В. В.: этот его роман мог бы иметь неожиданный успех во Франции и вообще на Западе. Очень уж там объелись волчьими ягодами всяческого модерна.

Сравнительно недавно Вейдле начал писать стихи. Некоторые — посвящены Венеции, Искии. Очень удался этот старый итальянский городок: Гордый Губбио! Жесткий, крутой, ты весь против шерсти... Здесь тот пренебрегнутый гекзаметр, который Вейдле оживил в коротких стихотворениях. Есть покаяние в этом обращении к Всевышнему, хотя он и допускал Его небытие:

Нечист я и брезглив, глуп и высокомерен,
Себялюбив, но лишь Твое в себе любя.

В низинности моей Твоим высотам верен,
В любви, в красе, в добре — в игре — ища Тебя.
Исчезну весь в Тебе. Пора. Но если мнимым
Всё было, чем я жил, как лгут лжецы, и... и
Тебя — нет. Нет. Тебя.
Тогда тем набожней с Тобой Неисследимым
Безропотно сольюсь в двойном небытии.

Какой был Владимир Васильевич? Высокий, несколько грузный, доброжелательно барственный, открытый всем новым впечатлениям бытия. Лежа в госпитале, приятельствовал с соседями по койке — парижскими мастеровыми.

Приветствовал многих из новейших эмигрантов, прежде всего А. И. Солженицына, но и некоторых ученых недавно прибывших из Советского Союза, а также поэтов, прозаиков.

До самой катастрофы — 15-го июля, когда В. В. потерял сознание, был бодр, писал о своих замыслах, планах. Очень хотелось ему объединить все три эмиграции...

Владимир Вейдле был знаток искусства, историк культуры, мастер-эссеист, русский европеец, христианин в гуманизме, посол русской, но и европейской истинной России на Западе. Другого такого у нас нет и не скоро будет.

Юрий Иваск

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ОПТИНУ ПУСТЫНЬ

До самой Оптиной Пустыни из Москвы 250 км. Русская пышная дикая природа развертывается вдоль калужской дороги. Здесь почти не чувствуется присутствие руки человеческой. Растет не то ячмень, не то пшеница, а кажется, что это дикая поляна, настолько плевела повсеместно заросли, кажется, что это не поле с хлебами, а с чертополохом... Характерно также, что у полей этих нет определенных краев, четких контуров. Близкий к Западу крестьянин бессознательно старается провести вокруг своего поля земляную тропинку и вносит в свою обработку земли что-то красивое. Здесь ничего подобного не ощущается.

Мало по калужской дороге церквушек. Проехав Калугу, которая хорошо стоит на холме над Окой, свернули на Козельск, где мы позавтракали и съели вкусные щи, гуляш и фруктовый кисель в одной из обыкновенных неаппетитных, нечистоплотных советских столовых. Оттуда поехали в Оптино, переехали через речку Жиздру и, съехав с асфальтированной дороги, километра два ехали земляной тропой, изрытой ухабинами (вроде той, по которой едешь в другое святое место, в Радонеж, он же теперь Городок, деревня на полпути между Москвой и Загорском). Что открылось нашим глазам, не поддается описанию. Боже! Какое грустное зрелище! Село вокруг бывшего монастыря состоит из деревянных хибарок, полуразрушенных, в ужасном состоянии. Повсюду грязь, нет дорог, всё выглядит очень убого. А сам монастырь! Как будто только что прошла здесь варварская орда. Остаются только руины, развалины, как после войны. Трудно мысленно восстановить, что где было, храмы стоят без крыш. Остались только стены, заросшие травой.

По лесу отправились в скит, находящийся метрах в пятистах от монастыря. Здесь меньше повреждений. Домишки-кельи, где жили старцы, на месте. Домик, где жил старец Амвросий, еще стоит недалеко от входных ворот, перед которыми находится и по сей день "Амвросиев колодец", из него мы выпили живой воды. Сохранился также домик в ограде скита, где побывал когда-то Достоевский. Посередине скита возвышается церковь Иоанна Предтечи, где устроили маленький музей, посвященный, главным образом, Достоевскому и Толстому. Но есть реликвии, относящиеся и к жизни в Оптине, хотя их очень мало. Ходишь по всем этим остаткам совсем удрученный. Чтобы это восстановить, нужны несколько десятилетий. Печально.

И.И. Оводов

ОТ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 1000-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Дорогие соотечественники!

Проведя в течение двух лет первоначальную подготовительную работу, Комиссия сочла своевременным широко объявить о своем существовании и о высокой задаче, стоящей перед ней. Комиссия призывает всех, кому дорого и свято принятие православного христианства предками нашими, кто чувствует и осознает себя их потомками и наследниками, всем желанием сердца и разума, воли и действия включиться в священное и общее дело.

Не в радостную годину приближаемся мы к столь знаменательному дню нашей истории. Пройдя без малого тысячу лет под благодатью нашей святой православной веры, народ наш оказался под игом богоборческой власти.

С верой в благодатную силу, излившуюся на народ наш тысячу лет назад, и в силу, даруемую свыше в год 1000-летний, — Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей благословил создание нашей Комиссии и поручил ей вести подготовку к Юбилейному Году и в должное время собрать Юбилейный Комитет.

Братья и сестры великой славянской семьи — русские и украинцы, белорусы и карпатороссы, — все, для кого святой равноапостольный князь Владимир — крестный отец, кто хранит дарованное отцам нашим святое Православие, — вспомним о нашем родстве!

Мы не можем мыслить это предстоящее торжество, как только торжество русских православных христиан, находящихся за рубежом родной земли. Все мы — и дома, и среди многих гостеприимных народов живущие — дети одной Православной Церкви и одного народа. Готовить себя к Юбилейному году мы будем по обе стороны не нами воздвигнутого рубежа. Мы призваны звать, звать и молить вас, потомков святой Руси, вспомнить и укрепить свое сознание в едином для всех нас прошлом нашем, утвержденность в котором поможет избежать многих ошибок в настоящем. Путь к возрождению лежит через подвиг покаяния, молитвы и труда. Подготовка к 1000-летию должна быть проникнута этим сознанием, ибо оно и есть наисовершенная подготовка к Юбилейному Году.

Итак, начнем наше общее дело воскрешения в нашем сознании памяти о своих предках и о своем родстве. Начнем это великое дело с покаяния перед Богом и брат перед братом.

Мы призываем всех сообща, всенародно, по обе стороны рубежа, готовиться встретить наш Юбилейный Год и почерпнуть в этом свое обновление и очищение. Это великое дело может быть достигнуто только при деятельном участии всех и каждого — это наше общее дело откроется нам в своей сущности как радость, бодрость и Божий дар нашему народу.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: *Прот. А. Киселев (Председатель), В.И. Алексеев, Кн. Т.К. Багратион-Мухранский, Н.С. Боголюбов, К.И. Киселева, А.А. Киселев, П.Н. Колтыпин, Н.В. Козякин, А.Д. Кулеша, И.Б. Кулеша, Н.Б. Лупинин, Г.А. Молчанова, М.Л. Михеев, Н.А. Мицкевич, Д.Н. Мицкевич, А.А. Нератов, Кн. А.П. Оболенский, Свящ. В. Потапов, М.Л. Ростропович, О.М. Родзянко, Т.А. Родзянко, И.П. Холодный, М.А. Холодная, Кн. А.П. Щербатов, М. Щербинин.*

По всем вопросам просим обращаться по адресу Комиссии: "1000 Anniversary Committee", 322 West 108 Street, New York, N.Y. 10025 USA.

"ЧАСОВОЙ".

орган связи Российского Национального Движения, старейший журнал зарубежья (50 лет) под редакцией В.В. ОРЕХОВА

"La Sentinelle", Boite Postale 31, Ixelles 4. 1050 Bruxelles

Годовая подписка в США 18 долларов. Воздушной почтой плюс 3 доллара. Представительство в США: Mrs. N.A. Kowerda 2507 Chirokee Str. Adelphi. Md. 20783

БИБЛИОГРАФИЯ

АНДРЕЙ СЕДЫХ. "ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ". Новое Русское Слово. 1979 (281 стр.).

И.А. Бунин в одном из писем ко мне, прося откликнуться на выход его книг в журнале "Грани", который я тогда редактировал, писал: "...пусть эта рецензия будет краткая, пусть будет в ней лишь указание на разнообразие произведений и артистическое мастерство... А то начнет кто-нибудь разводить канитель об этих книгах — и пропало дело!"

Вспомнился И.А. Бунин мне сейчас, когда собираюсь отозваться на новое издание книги Андрея Седых, прежде всего потому, что именно Бунину принадлежит высокая оценка таланта этого писателя — "его (привожу подлинные слова) юмора, живости, уменья схватывать налету всё, что попадает в поле его наблюдений" ... "лёгкости и неподдельной простоты, с которой он *передает* когда-то пережитое свое и чужое". "...Андрей Седых затуманил мне глаза, ни единым звуком не оскорбил моего писательского, теперь, по моему великому писательскому опыту, уже абсолютного слуха".

Закрепилось во мне и бунинское пожелание краткости и деловитости рецензии, отмечающей содержание и "артистическое мастерство", и это раздраженно-доверительное "А то начнет кто-нибудь разводить канитель" — как часто словцо "канитель" приходит на ум, когда читаешь иные критические реляции!

Следуя бунинским советам, скажу коротко, что содержание третьего издания книги стало богаче: не считая исправлений, о которых говорится в авторском предисловии, добавлены две новые главы: "С.А. Кусевицкий" и "Шагал", ценность которых умалить трудно. В главе о Бунине расширено интереснейшее письмо, по существу целый очерк о

последних днях писателя, написанный В.Н. Буниной; в книгу вставлены щедро фото и портретные репродукции — она даже и перелистывается с живым, наглядным интересом, как альбом.

И с неослабным же интересом, а то и волнением перечитывается. Откуда — волнение? Здесь, опять-таки по Бунину, скажу немногословно о мастерстве автора. Есть в мемуарах Андрея Седых особая творческая *душевность*. Где-то, не помню, у Гейне говорилось, что воспоминание — подлинная родина человеческой души. Скучноватые литературоведы различают в мемуарном жанре двух рассказчиков: вспоминающего и комментирующего. У Андрея Седых оба сливаются в одного — творчески переживающего воспоминаемое вновь; тепло пережитых встреч, впечатлений, бесед не стынет, но воскресает под пером автора и лучится на нас. Излучается в простой, доверительной тональности его рассказа, в доброжелательном, порою приглушенном юморе, в точной и ненадуманной экспрессии слова. Вот из главы о Шаляпине, например:

"А алкоголя мне нельзя (говорит Федор Иванович за столиком в ресторане), врачи не позволяют. — Затем сосредоточенно берет со стола бутыль со стоградусным арманьяком и подливает в бокалы: — В Виши был, печень лечил... Теперь вот арманьяком себя вознаграждаю. За ваше здоровье! Церемонно поднимал бокал, слегка прикрывал глаза и нюхал "букет"... И ноздри при этом трепетали".

И в заключительных строчках о великом артисте — какая подкупающая, я бы сказал, простота образного сообщения: "Его хоронили чудесным апрельским днем. Старый платан над раскрытой могилой был уже весь в цвету..."

Книга "Далёкие, близкие" была и остается в мемуарном богатстве эмиграции литературным событием.

Л. Ржевский

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА

РОМАНА ГУЛЯ

«Я УНЕС РОССИЮ»

(АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ)

Книга охватывает литературную, артистическую, церковную и общественно-политическую жизнь первой, второй и третьей эмиграций с 1920 г.г. по 1970-е г.г. (Берлин, Париж, Нью-Йорк). Даны зарисовки видных русских зарубежных писателей и общественно-политических деятелей: Бунина, Керенского, Зайцева, Церетели, Цветаевой, Степуна, Милюкова, А. Белого, Маклакова, Станкевича, Николаевского, Гучкова, Вишняка, Ключникова, Лукьянова, Абрамовича, Мельгунова, Карповича, Алданова, Г. Иванова, Вейдле, Адамовича и многих других. В книге — около 600 стр., много фотографий, факсимиле и текстов писем к автору. Также даются зарисовки советских писателей, бывших в Европе: Ал. Толстого, Эренбурга, Пильняка, Федина, Сейфуллиной, Никитина, Есенина, Кусикова, Слонимского, Груздева и др.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

■

В 1979 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1979 год 24 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков

■

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня